

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ШАРЖИ

или Зарисовки кошачьей лапой



Роман Омелянчук

Роман Омелянчук

**Литературные шаржи, или
Зарисовки кошачьей лапой**

«Автор»

2026

Омельянчук Р. Л.

Литературные шаржи, или Зарисовки кошачьей лапой /
Р. Л. Омельянчук — «Автор», 2026

А что, если великие герои мировой литературы однажды получают возможность поступить разумнее? Что, если граф Монте-Кристо откажется от мести, Раскольников выберет практическое решение, Анна Каренина переживёт собственный финал, а Дон Кихоту наконец объяснят, где мельница, а где великан? В «Литературных шаржах» классики, литературные герои, философы и персонажи массовой культуры встречаются с Хреномотом — котом, который задаёт слишком здравые вопросы. Он измеряет трагедию бытовой логикой, предлагает удобные выходы из великих сюжетов и проверяет высокие идеи на прочность. Но постепенно выясняется: убрать из истории ошибку ещё не значит сделать её лучше. Вместе со страданием, противоречием и безрассудством можно уничтожить именно то, ради чего историю помнят. Это книга о литературе и о нас самих — о привычке судить чужие решения задним числом и о мире, где идеального выбора почти не бывает. Смешно, язвительно и неожиданно серьёзно.

Роман Омельянчук

Литературные шаржи, или Зарисовки кошачьей лапой

Литературные шаржи, или Зарисовки кошачьей лапой

Дисклеймер

Данный материал создан как пародия — произведение литературного искусства, намеренно воспроизводящее узнаваемые черты другого, широко известного произведения ради комического эффекта, вызывающего смех или улыбку.

Все диалоги, реплики и ситуации с участием реальных исторических лиц и литературных персонажей являются художественным вымыслом и частью пародийного замысла. Они не претендуют на дословную передачу реальных высказываний, взглядов или биографических обстоятельств.

От автора

Мне всегда было интересно: что было бы, если бы герой или персонаж поступил иначе? Эта мысль возникает у нас всякий раз, когда мы читаем произведение. Мы с чем-то не согласны, хотим что-то изменить, поправить и всё же продолжаем читать то, что предложил автор.

Давайте воскресим наши вопросы, пожелания и фантазии и посмотрим, какая нелепая ситуация возникла бы, если бы все наши «хотелки» действительно сбылись.

Конечно, получится пародия, вызывающая комический эффект — тот самый, который рождает смех или улыбку.

И именно смех и улыбка убедят нас в том, что наши «хотелки» порой комичны, а авторы, возможно, знали своих героев лучше, чем нам казалось.

Пародия рождается там, где привычная логика сталкивается с неожиданной: возвышенное — с бытовым, трагическое — с практическим, канон — с читательским «а что, если?».

Где-то мне помогут ирония, гротеск, абсурд и парадокс, но задача у них одна: не «исправлять» классику, а проверять на прочность наши собственные читательские желания. А теперь — попробуем.

Комические очерки

«О мести в бархатных перчатках и забытом бухгалтере: граф, который мог бы просто уехать»

Диалог кота и А. Дюма.

На террасе старинной виллы над Средиземным морем пахло солью, старой бумагой и вином. Закат ложился на воду, как последний акт оперы без антракта. За столиком сидел Александр Дюма, а на перилах устроился Хреномот — с видом критика, уже готового предложить классике более практичный финал.

— О, блистательный заклинатель шпаг, коварств и замков, — начал Кот, выгнув спину с грацией придворного насмешника, — скажите мне, быть может, даже откровенно: неужели вам не пришло в голову, что весь этот эпический путь графа Монте-Кристо — от подземелья до парчи — можно было обойти, оставив на том самом острове единственного свидетеля тайны, именуемого бухгалтером?

— Досточтимый критик в усах, — отозвался Дюма, как будто читал строчку, а не фразу, — вы, возможно, забываете, что высшее достоинство человека не в том, чтобы избежать судьбы, но в том, чтобы прожить её с честью. Месть, исполненная молча, без зрителей и без размаха — это не роман, а брошюра для внутреннего употребления. Я писал о человеке, который не просто вернулся, но превзошёл свою рану, сделав из неё пьедестал.

– Ах, как изысканно вы кроите ткань судьбы, – промурлыкал Кот, не меняя тона, – но всё же, признайтесь, дорогой Александр, неужели вы действительно верите, что благородство обязательно требует театральной завесы и набора смертей с интригой? У нас, в России, Достоевский, к примеру, отправил героя «на каторгу» и сделал вывод не через яхту и бриллианты, а через кастрюлю раскаяния и пару эпилептических озарений.

– О мой ироничный визави, – с достоинством ответил Дюма, – но ведь в этом и различие культур: русская душа страдает, чтобы быть чистой, французская – действует, чтобы быть свободной. Мой граф не убивает ради наслаждения, он расплачивается за несправедливость, заменяя божественный промысел ясной рукой. Это не гордость, это – долг благородного сердца.

– Ах, долг благородного сердца, – подхватил Кот, – который, между прочим, выражается в изящной коллекции ядов, сценических эффектов и серии карнавальных разоблачений. Знаете, на каком-то этапе я начал подозревать, что граф — это просто опереточный режиссёр, уставший быть зрителем своей трагедии. Ну признайтесь, разве вы слегка не переборщили с количеством псевдонимов?

– Но, уважаемый Кот, – ответил Дюма с улыбкой, – разве человек, проживший предательство, может вернуться с прежним именем? Это было бы не возрождение, а ремонт. А я, простите, не пишу инструкций по реставрации чувств. Я пишу эпопею, где боль перерастает в правду, а правда, в действие.

– Браво, – Кот хлопнул лапой по перилам, – и всё же, всё же... всё, что ему было нужно, это забрать золото и забыть... Не открывать тетради ненависти, не превращать жизнь в судебную хронику, не делать из каждого врага предмет коллекционного возмездия. Но нет, вы взяли пострадавшего романтика и сделали из него поводыря судьбы в перчатках цвета мести.

– И всё же, – твёрдо сказал Дюма, – он ушёл, не разрушив. Он дал тем, кто виновен, увидеть своё падение, не подбросив его под колёса. Разве это не победа души над оружием?

– Условно, – пробормотал Кот. – Победа, приправленная драмой, чуть-чуть любовью, и доброй порцией контрольного триумфа. Хотя, признаюсь, читать мне было вкусно.

«Лимб для избранных»

Диалог Данте Алигьери и кота.

Это место не указано в «Божественной комедии», но оно, безусловно, существует. Здесь не мучают, не судят, а только думают.

Сводчатый зал напоминал тосканский собор, только вместо стен вокруг двигались звёздные письма. Над мраморной скамьёй мерцали страницы на разных языках. Данте сидел усталый, будто только что вернулся из собственного маршрута по вечности; напротив устроился Хреномот — уже недовольный тем, что маршрут оказался таким длинным.

Хреномот вытянул лапу:

— Синьор Алигьери, один вопрос. Чтобы объяснить людям, что жадность, злоба и предательство дорого обходятся, обязательно было устраивать многоэтажную экскурсию по загробной бюрократии?

Данте посмотрел на него внимательно:

— Я писал не объяснение, а путь. Человеку мало услышать: «не делай зла». Он слишком легко соглашается со словами и слишком редко узнаёт себя в них. Поэтому ему приходится идти — круг за кругом — пока чужой грех не начнёт напоминать собственный.

Хреномот прищурился:

— То есть читателя надо утомить до нравственности? Смелый метод. А нельзя было оставить один круг, Чистилище свести в таблицу, а Рай снабдить понятной навигацией?

Данте улыбнулся:

— Можно сократить дорогу на карте. Нельзя сократить путь внутри человека. Если он ничего не пережил, даже самая точная инструкция останется инструкцией.

— Но девять кругов? — не сдавался кот. — У вас смысл получает допуск только после марафона.

— А вы хотите, чтобы смысл доставляли на дом, — ответил Данте. — Мир уже научился получать почти всё одним нажатием. Счастливее он от этого не стал.

Хреномот на секунду перестал улыбаться.

— Значит, медленность у вас не наказание, а условие чтения?

— Иногда, — сказал Данте. — Потому что спешащий человек чаще всего успевает только подтвердить то, что и без того думал.

— Тогда скажите честно: вы ни разу не пожалели, что ввязались во всё это? Можно ведь было написать: «Будь человеком. Не жри чужое. Люби. Конец».

Данте ответил почти шёпотом:

— Короткая фраза сообщает.

А путь иногда меняет того, кто его прошёл.

Хреномот поднялся.

— Ненавижу ответы, которые нельзя сократить.

Данте рассмеялся.

— Поэтому вы и вернётесь к ним завтра.

Звёздные буквы над головой гасли одна за другой. Хреномот направился к выходу и на этот раз не попросил указатель.

«Анна и Кот: диалог о несостоявшемся финале»

Кот и Анна Каренина о новом финале.

Комната в русской усадьбе. Тихий вечер, за окном идёт снег. Анна сидит у камина в простом платье, волосы убраны, а на коленях свернулся чёрный Кот, не её, но будто знает её давно.

Анна, глядя Кота рассеянно произносит:

— Интересно... если бы я тогда не прыгнула, была бы я теперь символом?... Какой-нибудь пронзительной цитатой в учебнике, страдальческим взглядом на экране, вечной женщиной, которая "так любила, что не вынесла"?...

Кот:

— Безусловно. Вы бы были... "Паровозная мадонна". Такая, знаете, из тех, что тонут в двух фразах и одном кадре. Только вот... вы были бы не вы.

Анна:

— А кем я теперь...? Ни Вронского, ни общества, ни оправдания. Только... я и чай, который стынет быстрее, чем надежда.

Кот:

— Простите, но вы, самая редкая версия женщины. Вы выжили после того, как всё кончилось. А это, между нами, даже тяжелее, чем умереть красиво.

Анна, усмехаясь грустно:

— Красиво... Да, красота страдания у нас в моде, а вот жить с тенью, мыть посуду с былым в груди, думать: «я всё ещё здесь» — это, увы, никому не интересно.

Кот:

— Ошибаетесь! Интересно тем, кто тоже выбрал остаться. Ведь умереть может каждый. А вот прожить себя после боли, без публики, без монолога, вот это искусство.

Анна:

— Люди говорили: «Она — эгоистка, мать, женщина, грешница, страдальца». А я просто... хотела быть кем-то одной.

Кот:

— Так вот же вы. Одна, и как я погляжу вполне целая. И не в глазах других, а в своём зеркале, которое больше не разбивается от чужих мнений.

Анна:

— А Вронский?.. Он ведь ушёл, ушел без скандала, просто... как уходит чувство, когда ты перестаёшь делать вид, что оно взаимно.

Кот:

— Он ушёл потому, что вы остались собой, а не ролью, которая должна вечно плакать и просить...

Анна:

— А что дальше? Я не святая, не героиня, не жена. Кто я теперь, ответь мне?

Кот, тихо мурлыча:

— Вы человек, который пережил себя прежнюю, а это, знаете ли, самая недооценённая форма воскрешения.

Анна:

— А ты что, теперь мой ангел-хранитель?

Кот:

— Скорее... архивариус вашего выбора. И я просто сижу рядом, чтобы вы не забыли, что даже если вас выпилили из романа, вы всё ещё живёте между его строк.

Анна смотрит в огонь. Кот свернулся у неё на коленях. На улице тишина. Мир не знает, что Анна выжила, но ей впервые не нужно, чтобы он знал.

«Спарта, шпага и кот под латами: стратегия против вдохновения»

Диалог кота и Дон Кихота.

Заброшенный античный амфитеатр пустовал под ветром Эллады. На мраморе лежала пыль старых побед, а напротив Дон Кихота, вооружённого верой лучше любой карты, устроился Хреномот — сторонник стратегии, снабжения и неприятных вопросов.

Хреномот лениво крутил в лапе павлинье перо:

— Дон Кихот, если убрать легенды и оставить снабжение, карту и трезвый расчёт, Спарта, возможно, простояла бы дольше. Не кажется ли вам, что доблесть без плана слишком часто превращается в красивую эпитафию?

Дон Кихот поднялся так быстро, будто спор уже был сражением:

— А план без того, ради чего стоит сражаться, превращает войско в хорошо снабжённую толпу. Вы всё считаете обозы и фланги, господин кот, а кто посчитает мужество человека, который остаётся, когда расчёт советует бежать?

Хреномот повёл ухом:

— Мужество я уважаю. Но голодный герой через три дня начинает уважать хлеб сильнее идеалов. Полководец обязан помнить и о копье, и о сухарях.

Дон Кихот расправил плечи:

— Тогда фланги я отдам тем, кто умеет мечтать, центр — Санчо, потому что он первым заметит отсутствие ужина, а поэтов поставлю впереди: они раньше других чувствуют, когда победа начинает пахнуть поражением.

Кот усмехнулся:

— Вот теперь появляется стратегия. Особенно Санчо. Ему я доверил бы весь обоз.

Дон Кихот посмотрел на пустые ряды амфитеатра:

— Вы всё измеряете тем, что останется после битвы. А я — тем, ради чего человек в неё вошёл. Иногда поражение сохраняет больше человека, чем победа.

Хреномот отложил перо:

— Красиво. И всё же мечта плохо числится в боеприпасах.

Дон Кихот ответил спокойно:

— Быть может. Но без неё боеприпасы слишком легко находят любую цель.

Хреномот помолчал.

— За эту фразу я бы доверил вам знамя. Снабжение всё равно оставим Санчо.

Порыв ветра сорвал павлинье перо с мрамора. Дон Кихот поймал его на лету. Хреномот ничего не добавил.

«Стены без дверей и дверцы без замка: кот и Кафка в коридорах непроходимого»

Вечер спустился на снежную равнину у подножия несуществующего Замка, как белый покров на усталое тело. Вдали темнел силуэт — размытый, будто вырезанный из бумаги и приклеенный к небу с ошибкой в перспективе. У подножия, в часовом домике без часов, сидел Франц Кафка. На краю стола, свесив лапу над замёрзшей чернильницей, расположился Хреномот.

— О, тончайший архитектор абсурда и бумажного беспокойства, — начал Хреномот, подогнув лапу с видом высокопоставленного рецензента, — скажите мне прямо, Франц, что это за Замок, в который нельзя войти, но ради которого все молча страдают, мечтают и записывают бледные анкеты? Неужели вы считаете, что человек, это просто заявление без подписи, оставленное на ветру истории?

— Мой внимательный наблюдатель реальности снаружи, — ответил Кафка, глядя сквозь Хреномота, словно кот был не собеседником, а ещё одной иерархической ступенью, — Замок, это не место и не власть. Это форма дистанции, которую человек выдумывает, чтобы оправдать своё вечное стремление туда, где его не ждут. Это голос, который всегда отзывается эхом, но никогда приглашением.

— М-да, как метафизически изящно, — усмехнулся Хреномот, — но позвольте мне слегка вас подразнить. Вы ведь написали роман, в котором герой не только не достигает цели, но и теряет сам смысл задачи. Достоевский, простите за параллель, пусть и запутывал читателя в лабиринтах души, но хотя бы давал выход, например, раскаянием, криком, монастырём. А у вас, у вас только коридор и дверной звонок, который, кажется, работает, но звонит в никуда.

— Уважаемый когтистый скептик, — мягко проговорил Кафка, не меняя тона, — вы правы в одном, выход есть, но не из здания, а из ожидания, что кто-то откроет дверь. Я писал не о герое, а о процессе, о том, как желание порядка может стать новой формой наказания. Замок не тираничен, он равнодушен, а равнодушные, как вы знаете, это самое жестокое из чувств.

— Превосходно сказано, браво! — кивнул Хреномот, слегка взъерошившись, — Но позвольте спросить, неужели вы всерьёз верите, что вся жизнь, это бесконечная очередь за смыслом, где, простите, даже туалета нет? Где клерки заполняют пустые бумаги, а личности рассыпаются в пыль, ожидая вызова, которого нет?

— Мой сомневающийся компаньон, — прошептал Кафка, — возможно, смысл — это не место назначения, а форма страха, перед которой человек учится ходить по кругу. Мой герой идёт не за правдой, а, чтобы не остановиться, потому что в остановке возникает паника, а в движении, напоминает хоть что-то живое.

— Ну что ж, о создатель лабиринтов без Минотавра, — вздохнул Хреномот, — выходит, вы написали антиутопию без злодея и драму без финала? Пьесу, в которой декорации съели актёров? Скажите, а разве не проще было бы назвать роман «Отдел пропущенных смыслов»?

— Ах, как вы метки, — улыбнулся Кафка, — но ведь даже в отделе пропущенных смыслов кто-то читает сводку. Я не ищу простоты, потому что простота, это форма самообмана, а абсурд, форма честности. И Замок, это моя честность в том, что я не знаю, куда идти, но знаю, что должен писать об этом непрерывном шаге.

Хреномот уже приготовил ответ — что-нибудь про окна, печати и право кота входить без разрешения. Но посмотрел на Замок и впервые подумал, что окно тоже может быть частью стены. Ответ пришлось отложить.

Снег падал всё так же медленно. Кафка вернулся к рукописи. Хреномот посидел ещё немного — и ушёл молча.

«Сочинский рай и питерский топор: как мышление мешает отпуску»

Диалог кота и Раскольникова.

В старом петербургском дворе моросил дождь. Раскольников сидел на каменной ступеньке, сгорбившись так, будто нёс не только собственную вину, но и комментарии к ней. Рядом под старым зонтом устроился Хреномот.

— Родион Романович, объясните простую вещь. Раз уж преступление совершено и золото в руках, почему вместо билета в Сочи вы выбрали многотомное самоистязание? Неужели Петербург настолько удобен для угрызений совести?

— Уехать можно из города, — ответил Раскольников. — Из собственной головы сложнее. Я хотел доказать, что стою выше закона и людей. После этого любое море было бы просто другой декорацией той же комнаты.

— Трагично, — сказал кот. — Но если бы Достоевский был чуть практичнее, роман можно было бы сократить до трёх глав: «убил», «уехал», «не помогло».

— Именно потому и нельзя было уехать, — ответил Раскольников. — Моя беда не в том, что я плохо спрятался. Я сделал идею важнее человека. Наказание началось раньше суда — в тот момент, когда я решил, что имею право.

— Тогда следующий вопрос. Зачем столько страдать? Почему не сделать что-нибудь полезное: работать, помогать, строить? Слёзы, знаете ли, испаряются быстрее кирпича.

— Страдание само по себе ничего не строит, — сказал Раскольников. — Если после него человек только любит себя своей болью, это ещё одна форма гордости. Смысл появляется, когда меняется поступок.

Хреномот прикрыл зонт и посмотрел на него внимательнее. — Вот теперь Сочи отменяется. Вы впервые сказали не о том, как мучиться, а о том, что делать после.

Дождь продолжал моросить. Раскольников встал со ступеньки. Старый зонт остался у двери — впервые похожий просто на зонт.

«Мёртвая сделка, или Вий в списке инвентаря»

В старом читальном зале пахло пылью и бумагой. На столе лежали рядом «Мёртвые души» и «Вий». Гоголь сидел в кресле, а Хреномот растянулся на каталоге, как будто уже оформил заявку на объединение двух произведений.

Кот ткнул лапой в «Вия»:

— Николай Васильевич, а если бы одна из купленных Чичиковым душ вдруг поднялась и отказалась продаваться? И не просто душа, а Вий — со всем своим хозяйством. Согласитесь, сделка сразу стала бы бодрее.

Гоголь задумался:

— Вы хотите добавить чудовище туда, где чудовище уже есть. Только моё носит приличный сюртук, умеет считать и говорит вежливо. Вий страшен лицом. Чичиков — тем, что его лицо вполне удобно обществу.

Хреномот подмигнул:

— Зато Вий оказался бы первым персонажем, которого нельзя внести в купчую. Представьте: Чичиков протягивает бумагу, а мёртвая душа отвечает: «Не продаюсь». Уже одно это стоило бы второго тома.

Гоголь чуть улыбнулся:

— В этом и беда. Мы давно продаём то, чего не понимаем. Но моя Россия страшна не клыками, а расписками. Вия там быстро описали бы, пронумеровали и сдали в архив.

Кот перебрал лапой страницы:

— Именно поэтому он мне и нужен. Хоть кто-нибудь должен встать посреди канцелярии и сказать: «Нет». Пусть даже для этого придётся поднять веки.

Гоголь посмотрел на книги:

— Я хотел написать смешную трагедию без вурдалаков. Потому что зло, которое умеет заполнить бланк, переживает мистику гораздо спокойнее.

Хреномот перестал улыбаться:

— Вот это, пожалуй, страшнее моего Вия. Тот хотя бы честно выглядит чудовищем.

Гоголь кивнул:

— Самое неприятное зло обычно просит не бояться. Оно просит расписаться.

Хреномот свесил лапу с каталога:

— Тогда Вия оставим в покое. У вас уже есть бухгалтерия.

С полки упал забытый счёт за свет.

Хреномот посмотрел на бумагу и фыркнул:

— Вот, Николай Васильевич. Ваш Вий. Без клыков, зато с реквизитами.

Гоголь не возразил.

«Молитва перед безумием, или Кот и трагедийный пергамент»

Кот и Шекспир о Дездемоне...

В заброшенном театре пахло пылью и мокрым бархатом. На сцене стоял Уильям Шекспир; Хреномот устроился среди старых декораций и сразу перешёл к делу.

— Уильям, зачем вы в последнюю минуту заставили Дездемону молиться? Человек собирается её убить, а она вместо крика, пощёчины и попытки спастись выбирает молитву. Это вера — или слишком красивая капитуляция?

— Молитва здесь не украшение, — ответил Шекспир. — Это последнее пространство, которое Отелло ещё не может у неё отнять. Он способен лишить её жизни, но не внутреннего обращения к тому, что выше его ревности.

— Вы умеете обставить убийство так, что зрителю неловко требовать полицию, — заметил кот. — У вас страсть всё время получает кинжал, яд или платок, а здравый смысл — место в последнем ряду.

— Потому что трагедия показывает не разумный выход, а цену ошибки, когда выход уже почти закрыт, — сказал Шекспир. — Если бы каждый вовремя поступал правильно, театр закончился бы до антракта.

— Прекрасно. Но Дездемона могла хотя бы попробовать открыть дверь.

— Могла, — согласился Шекспир. — И другой человек, возможно, открыл бы. Но я писал не инструкцию по выживанию. Я писал о доверии, которое понимает опасность слишком поздно.

Хреномот прищурился:

— То есть её тишина — не «женская покорность», не образец поведения и не нравственная медаль?

— Разумеется, нет. Это выбор конкретной Дездемоны в конкретной трагедии. Читатель вправе злиться на неё именно потому, что видит возможность другого поступка.

— Вот это уже честнее, — сказал кот. — Значит, моё желание спасти её не опровергает пьесу, а доказывает, что я в неё влез.

За сценой скрипнула доска. Шекспир улыбнулся:

— Когда зритель хочет выйти на сцену и остановить героя, трагедия ещё жива.

Хреномот посмотрел на дверь и впервые не предложил Дездемоне переехать в Данию.

«Мир, война и сто восемьдесят героев: зачем так много, граф?»

В старом московском саду пахло скошенной травой и бумагой. У пруда сидел Лев Николаевич Толстой; на бронзовом подлокотнике рядом устроился Хреномот, явно недовольный количеством людей, которых ему предстояло помнить.

Кот, слегка отряхивая с уса каплю росы, как бы стирая чужие сентенции:

— О, Лев Николаевич, граф замыслов и маршал эпизодов, позвольте обратиться к вам с вопросом, который давно свербит даже тех, кто отважился на подвиг прочтения. Скажите мне по-кошачьи: зачем так много героев, так много душ, так много балов, пушек, эпилогов

и внутренних монологов? Неужто нельзя было издать две версии: одна – «Война и Мир для занятых», а вторая – «Война и Мир для вечных дворян»?

Толстой, медленно проводя пальцами по спинке скамьи, будто вычерчивая судьбу на воздухе:

– Дорогой мой кот, в ваших словах я слышу голос времени – суетливого, нервного, обременённого выбором между скоростью и смыслом. Но позвольте, если жизнь человека не состоит из краткой аннотации, то и роман, как зеркало этой жизни, не может быть урезан до схемы. Я писал не для читателя, спешащего к электричке, а для души, которая хочет остаться на перроне и подумать – зачем она живёт.

Кот, лениво вытягиваясь на солнце и поводя хвостом, как дирижёр мыслей:

– Прекрасно, поэтично, местами даже возвышенно, но вот вы пишете про двух Наполеонов и двадцать два князя, а спустя три главы ни один читатель уже не помнит, кто из них Болконский, кто Безухов, а кто просто был за углом. Это же не роман, а энциклопедия с литературным голосом. Даже у Гоголя с его мертвыми душами – и то компактнее.

Толстой, с лёгкой усмешкой, будто сдерживая желание прочесть монолог Пьера:

– Ваша критика трогательна в своей прямоте. Но поймите, каждая фигура в моей книге – не просто человек, а грань народного духа. Князь Андрей – это воля, Пьер – сомнение, Наташа – жажда чувства, а даже Ростов – это попытка быть честным в мире перекрёстных присяг. Разве можно вынуть одного – и оставить смысл?

Кот, указывая когтем на небо, где пролетел голубь, как будто тоже герой романа:

– Граф, но вы же не Достоевский, который каждого персонажа заставляет спорить с Богом, а сам только слушает. У вас все танцуют, едят, страдают и снова танцуют. Может, стоило хотя бы приложить к роману семейную схему, чтобы читатель не выяснял на третьем балу, кто кому кузен, жених и нравственная проблема?

Толстой, укладывая руки на трость, как на точку опоры философии:

– Милый Кот, вы, как всякий наблюдатель со стороны, видите форму, но не дыхание. Я писал не о героях – я писал о потоке бытия, в котором война – это дыхание истории, а мир – дыхание сердца. И если где-то читатель устал – значит, так же устаёт и человек от жизни, но не от смысла.

Кот, прищурившись, будто увидел за кустом сюжетную дыру:

– Смею заметить, сударь, что если бы вы написали только о Пьере и Наполеоне – а остальных оставили на сносках – быть может, даже в школах любили бы ваш роман, а не зубрили его. Но, видимо, для вас длиннота – не порок, а стиль. Как у Пруста, только с саблями.

Толстой, глядя в отражение пруда, словно там – судьба народа:

– Быть может, но поймите: я искал гармонию, а не лаконичность. Война – это хаос, мир – это поиск. И если мои страницы иногда шумят лишним – значит, они живут. Я не роман писал. Я собирал живое из эпохи, где мысль и шпага шли рука об руку.

Кот, вздохнув, но с уважением:

– Что ж, Лев Николаевич... возможно, вы правы.

И всё же – когда в третий раз начинаешь главу о бале, невольно задумываешься: а не могли Толстой написать и «Война без танцев»?

Толстой, улыбаясь глазами:

– Тогда это был бы не я.

А вы – не кот.

И мы бы сейчас не говорили.

«О балансе бытия и бутерброда»

Старый балкон, обвитый ржавым плющом, смотрит в бездну заднего двора, где мусорные баки дремлют в ожидании судьбы. Воздух — тёплый, как воспоминание о чём-то несбывшемся. Кухня внутри источает запах селёдки, неуволимо пронизывающий всё и вся, включая

метафизику. За столом, покрытым газетой с некрологами времён хрущёвской оттепели, сидят двое: дрозд — на балюстраде, как глашатай древних истин, и Хреномот — развалившись на табуретке, словно олицетворение ленивого даоса в шерстяном пальто.

— Ты понимаешь, — начал кот, вылизывая лапу с видом диогена на пенсии, — весь парадокс нашего мироздания в том, что бутерброд с маслом почти всегда падает маслом вниз. Это что — гравитация? Или моральная компенсация за сам бутерброд?

— О, старый друг с усами и полусонным скепсисом, — отвечал дрозд, поправляя перо на крыле, как бы настраивая волну, — это и то, и другое. Мир — не нейтрален. Он страстен. Он любит неловкость. Поэтому бутерброд — это не еда, а карма, выраженная в ржаном хлебе.

— А селёдка, между прочим, — фыркнул Хреномот, — это эссенция человеческого страдания. Солёная, скользкая, подозрительно блестящая — как идея счастья в уставшей голове. Каждый, кто ест селёдку, на миг становится философом. Особенно под картошечку.

— Или поэтом, — заметил дрозд, печально глядя на звезду, залипшую в смоге. — Вспомни: ни один великий текст не был написан натошак. Дух без тела — эфемерность. А тело без духа — закуска. Истина же — в их взаимодействии. Как ты думаешь, почему монахи варят суп с грибами, а не с догмами?

— Потому что догмы долго не кипятятся, — лениво отозвался кот. — Их можно только распевать нараспев или записывать в протокол. Вот ты, птица с кассой на плече и библиотекой за клювом, что выберешь: истину без бутерброда или бутерброд без истины?

— Я выберу окно, — задумчиво пробормотал дрозд. — И буду смотреть на прохожих. Потому что у каждого из них свой бутерброд — в руке или в сердце. А истину, если честно, давно завалило капустой и маркетингом.

— А ведь раньше, — вставил кот, потянувшись, как если бы раскрывал Евангелие по мурлыканью, — бутерброд был символом достатка. Теперь — символ отвлечённости. Ешь, но не живёшь. Кусаешь, но не понимаешь. А селёдка всё пахнет. Даже если её нет.

Дрозд сделал вид, что не слышит. Он смотрел вниз, на мусорный бак, где толстый голубь возился в картонной коробке с видом Бэкета, репетируя своё последнее молчание.

— Что же, — вздохнул дрозд, — выходит, быть — это когда ты сидишь на балконе, думаешь о вечности, а из кухни тянет селёдкой, и ты вдруг понимаешь, что всё не зря. Что даже у Вселенной есть запах.

— Запах, мой пернатый братишка, — подытожил Хреномот, складывая лапы на пузе, — это аргумент. Неоспоримый. А бутерброд — это выбор. Вот бы нам ещё чайку. Без сахара. Чтoб философски.

— А если без самовара? — спросил дрозд, покачивая пером, как дирижёр палочкой.

— Тогда пусть будет просто тишина. Главное — не упасть маслом вниз.

Они замолчали. Над двором, над миром, над бытием и его масляной стороной повисла тихая, нежная, как забытый аккорд, философия.

И пахло селёдкой.

«Плащ, шпага и перо иронии: разговор под гербом вымысла»

Диалог А. Дюма и кота.

В старой библиотеке, где книги пахнут мушкетным дымом и театральным пафосом, находятся двое. Здесь редкие тени переплетаются с вековой пылью, как вуали на маскараде, а тусклый свет, пробивающийся сквозь блеклые витражи с гербами королей, рисует на полу узоры из благородства, предательства и винных пятен. Полки, набитые книгами, уходят ввысь, словно шпаги, поднятые к небу, а в воздухе висит смесь чернил, едких духов и обрывистых реплик, произнесённых слишком громко для правды, но слишком красиво, чтобы быть забытыми. В кресле у камина сидит Александр Дюма, величественно ироничный, а на спинке этого кресла,

как тень эпохи, разлѣгся, греясь, Хреномот, ворчливый комментатор благородных заблуждений великого писателя.

Хреномот, лениво царапая лапой корешок «Графа Монте-Кристо», интересуется:

— Месье Дюма, признаюсь честно и даже с капелькой восхищения, вы написали гениальную пьесу на тему «дружба, перья и политическая безответственность». Только вот объясните мне, воспитанному на мировой классике литературы животному, ваши мушкетёры, они кто вообще? Государственные служащие с фехтовальной зависимостью, или просто весёлые бездельники с подвеской на уме и фразой "вино за мой счёт"?

Дюма, с улыбкой, будто только что нарезал очередной сюжет для своего романа:

— Ах, милый мой саркастический зверь... Вы смотрите на мушкетёров глазами современного бухгалтера в потрёпанных нарукавниках, а я — глазами поэта, которому важна не отчётность, а порыв души, высокие чувства и неизгладимый букет эмоций. Поймите, они далеко не солдаты; они эпоха, в которой честь значила больше, чем протокол, а поединок был формой аргументации. Они шли туда, где не хватало красоты, и вдыхали в мир эстетику мужества, пусть даже с каплей легкомыслия.

Хреномот, прищурившись:

— Эстетика мужества? Это что-то новое. Вы, должно быть, имеете в виду повседневные дуэли за честь дамы, которую они случайно увидели вчера, и непременно забудут уже завтра, как только проснутся. По-моему, это был не роман, а вечеринка с элементами угрозы жизни, и всё это под звуки струнного оркестра из избитого клише эпохи романтизма.

Дюма, приподнимая бровь:

— Быть может, вы и правы, но позвольте тогда у вас спросить: разве не это нужно читателю? Фехтование, любовь, коварство, заговоры. Ведь всё это не более чем театр, где меч и сердце работают в унисон. Вы же не будете отрицать, что я, как писатель, создавал не документ, а рисовал мечту, где честь можно вернуть шпагой, а дружбу — последним шагом в бой, даже если весь мир окончательно пошёл прахом.

Хреномот, иронично ухмыляясь:

— Мечту, говорите? Ну-ну. С мечтой под мышкой и кабаком за поворотом. Не смешите. Возьмем ваших героев. Вот ваш Атос, явно депрессивный аристократ с винным уклоном. А Портос, живая мебель в цветастом камзоле. И Арамис, этот вообще богослов в декольте. Я уже молчу про д'Артаньяна, этот юный карьерист с интеллектом случайно заточенной шпаги. И вот эти трое с половиной калеки спасают Францию? Не смешите!

Дюма, с оттенком театральной строгости, отвечает:

— Вы забываете, мой друг, что Франция — это не только виноград, парламент и Лувр, Франция — это особый стиль, острое слово, любовные интриги. И мои герои не спасают государство, вовсе нет, они спасают дух Франции. Это те, кто всегда говорит: «Один за всех и все за одного», даже когда на столе нет ничего, кроме сломанных в бою шпаг и остатков холодного ужина.

Хреномот, уже ворча:

— Значит, это не история, а государственный гимн. А вы не хронист, а капельмейстер национального воображения. Не странно ли, что по итогам стольких шпаг и подвесок, на троне всё равно остался тот же король, а золото по-прежнему в сундуках кардинала?

Дюма, мягко с заботой отвечает:

— Вам ли, мой друг, не знать, что иногда литература — вовсе не переворот, а отдушина между репрессиями. Мушкетёры были не для того, чтобы поменять власть; они создавались, чтобы напомнить: даже в эпоху интриг можно жить красиво, умирать достойно и дружить, несмотря ни на что.

Хреномот, спрыгивая с кресла:

— Ваша проза, пожалуй, — это шпага в парфюме. Приятно пахнет, но иногда режет своей негибимой логикой. Однако надо признать: читать вас приятно, ведь вы умеете заворачивать столетнюю пыль в роскошные банты.

Дюма, вставая с книжным разворотом в руке:

— Потому в литературе даже пыль становится золотом, если на неё вдохновенно подуть.

В библиотеке зашуршали страницы, кот вальяжно идёт по ковру, а где-то за переплётом снова зовёт подвеска. Но это уже другая история...

«О круге, страхе и Вие»

Диалог Гоголя и кота.

Хреномот, выгибаясь в кресле с выражением вселенской насмешки, произносит:

— Николай Васильевич, давайте по-честному, ваш Хома Брут — это типичный невыспавшийся и вечно опаздывающий студент, которому просто нужно было выйти за пределы магического круга, вдохнуть свежего воздуха и сказать: «Здравствуй, жизнь. Я выбираю подработку, а не все вот это». А он, что? Трясся в углу и ждал, пока его сожрут эти твари! Где же рост персонажа, а?

Гоголь, глядя гусиное перо, как будто оно ему помогает:

— Ах, милейший... Вы рассуждаете так, как будто страх — это не древний корень души, а плохая привычка. А ведь я писал совершенно не про круг на полу, а про круг внутри человека, из которого нельзя выйти, не сгорев. Страх Хома — это не слабость, это зеркало: чем больше ты на него глядишь, тем меньше видишь выхода.

Кот:

— Вот именно! Страх — это зеркало, а значит, надо было разбить его и пойти умыться. А он... он что? Он перечитывал псалтырь, как будто буквы могли перекрыть возникший в нем биологический ужас. Да и что за комната такая? Кто в здравом уме остаётся на ночь с мёртвой ведьмой, если можно просто... ну, например, свалить оттуда потихоньку, чтобы никто не увидел, выспаться и утром прийти свежим и в хорошем расположении духа?

Гоголь:

— Но ведь именно потому, что он не ушёл, он духовно вырос, он стал больше, чем просто студент. Он стал образом, тем, кто встретился лицом к лицу с тем, чего не хотел знать и боялся. К тому же я писал «Вия» не как страшилку. Совершенно не так. Я писал его как хронику невидимого мира, который существует даже тогда, когда вы ставите в центре круга домашний уют.

Кот, царапая когтем пошарпанные обои:

— Ага, свежо придание, да верится с трудом. И всё-таки. Вий встаёт, Хома падает, страх побеждает, и всё потому, что он верил в этот пресловутый круг, но, увы не верил в себя. Если бы он один раз, просто один! вышел и сказал: «Эй, я больше, чем мой страх, пошел вон...», или по-достоевскому: «Тварь ли я дрожащая или право имею» — была бы у вас совсем другая повесть. Я бы даже не побоялся этого слова — роман.

Гоголь, усмехаясь как священник, видящий черта за псалом:

— Да вы, батюшка, как Липунюшка из «Пропавшей грамоты»: всё бы в психологию да к свету. Нет, у меня тьма с нутром, где человек не герой, а всего лишь тень, дрожащая между Богом и собственным грехом. И мой Хома не мог выйти, потому что он был там, где не выходят телом, где выходят только душой. А душа его, не вынесла испытания.

Кот, задумчиво почёсывая подбородок:

— То есть вы утверждаете, что он умер по делу? Что Вий — не просто страшное лицо, а метафора чего-то настолько древнего, что ему и анатомия не нужна?

Гоголь:

— Вий — это взгляд истины без защиты. То, что ты видишь, когда в тебе уже нет веры, но совесть ещё не сгорела. Он не снаружи; Вий в тебе, когда ты остаёшься без света, без иронии,

без любви. Вот тогда поднимают веки и тебе показывают самого себя — без аллегорий, каким ты есть. Вот тогда ты и падаешь.

Кот:

— Мда... Закрутили же вы, Николай Васильевич, сюжетец, без авторских комментов и не разобрать, что к чему. Значит, это явно не сказка на ночь для очищения души. Пожалуй, ваша «работа» тянет на исповедь, замаскированную под фольклор.

Гоголь, удовлетворённо кивая:

— Конечно. А вы думали, я пишу для балагана? Нет, я писал, чтобы напомнить человеку, что он не спасается кругом, только внутренним пробуждением. Но, как показывает практика, многим вообще проще не просыпаться.

Кот, уже тихо мурлыча:

— Скажите честно, Николай Васильевич... А вы сами вышли бы из круга?

Гоголь, долго молчит, но отвечает:

— Нет. Но я бы, может быть... написал, что кто-то однажды выйдет из него и будет совершенно другим человеком.

Сквозняк колышет страницы старой, истрепанной рукописи. Кот замирает, глядя в пыльный угол комнаты, а Николай Васильевич, как всегда, исчезает не в дверях, а в подтексте.

«О борще и Берлаге: если бы Толстой писал „Золотого телёнка“»

Диалог Л.Н. Толстого и кота.

На террасе в Ясной Поляне, где небо пахнет покоем, а деревья покорно глядят в землю, будто слушают её исповедь, стоит дубовый стол, покрытый потрепанными газетами прошлых лет. Слева – самовар, справа – аккуратно сложенные стопкой рукописи. Посередине, как всегда, Кот, растянувшийся в позе театральной усталости, а напротив, Лев Николаевич – в неизменной гимнастёрке, с усталым взглядом гения, которому всё ещё есть что сказать человечеству. Солнце, косо падающее на половицы, освещает их, как будто это сцена, а диалог – спектакль без зрителей, но с нравственными последствиями.

Кот, встряхнув хвостом как эпиграммой, начинает диалог:

— О достойный Лев Николаевич, вот скажите: случись вам, под напором истории и с легкой бровью редактора, переписать Золотого телёнка, что бы вы сделали с Остапом Бендером? Ведь он у вас, скорее всего, не гонимый бы за миллионером Корейко, а пытался бы наставить его на путь земного покаяния, возможно – через земледелие и семейную ответственность?

Лев Николаевич, задумчиво, глядя на свежескошенную траву, отвечает:

— Дорогой мой, вы облачаете мысль в иронию, но в ней – заусенец истины. Если бы мне, не приведи Господь, пришлось поведать историю о человеке, мчащемся сломя голову за золотом, я бы непременно показал его сначала родным среди пахоты, затем в гуще народа односельчанам, и лишь в конце другим людям, у которых отсутствие любви к ближнему вызывает отчётливое чувство утраты.

Кот, запрыгнув на рукопись и слегка помяв «Севастопольские рассказы», восклицает:

— Ах, ироничный вы наш селянин духа! Вы бы наверняка дали Остапу супругу по имени Дарья Семёновна, которая бы варила борщ и вздыхала с такой глубиной, что Корейко с его миллионами сам пошёл бы доить корову – из чувства экзистенциальной вины. А вместо «шляпа с пером» – сапоги и разговоры о душевности!

Толстой, скептически покачав головой, как ниву, отвечает:

— Позвольте не согласиться. Не в борще дело, а в том, что без почвы под ногами даже самый обаятельный проходимец оказывается в духовной пустоте. Остап, как герой, мог бы быть легко перерожден через страдание в деревенской жизни, через понимание тщетности цели, через встречу с Алёшей Карамазовым, если хотите.

Кот, мяукнув театрально, ерничает:

– И что ж, вы бы и Козлевича посадили за трактор, а Паниковского запихнули бы в сельсовет? Представляю себе сцену: бывший царедворец, а ныне охотник за гусями, ведёт душе-спасительную беседу с плотником, и всё это на фоне лугов и тонущего в сирени велосипеда...

Толстой, с нескрываемой, мягкой улыбкой, будто философ гладит лошадь, соглашается:

– Да. И знаете почему? Потому что даже смех — это путь, нет, не потеха, а форма очищения. Бендер бы, быть может, не дошёл до Рио-де-Жанейро, но обрёл бы себя в том, что не требует билета. Я дал бы ему землю, дал бы тяжёлый день, чтобы понять, как лёгок был его обман.

Кот, вскакивая на подоконник и царапая воображаемый портрет Ильфа, саркастически произносит:

– Ну вот, опять всё свелось к бороне, совести и сапогам, а между тем Бендер, замечу, это ведь не трагедия, а наш вечно улыбающийся диагноз. Он не исправляется, он танцует между законами, как кот шмыгает между лужами. И знаете ли, его приручить, это всё равно что заставить Обломова бегать по утрам и обливаться холодной водой.

Толстой, тяжело вздыхая от недоверия и отхлёбывая горячий чай, отвечает:

– Может быть, вполне может быть, но даже кот способен утомиться от игры, что уж говорить о человеке, человек – должен прозреть. Если не в романе, то в жизни точно. И если для этого мне пришлось бы написать Телячье Воскресение, то я бы это непременно сделал.

Кот, уже мурлыча с философским подтекстом, бравирует словами:

– Вот за это я вас и уважаю, Лев Николаевич. Вы единственный, кто мог бы превратить аферу в эпопею, а команду жуликов в семью. Только пообещайте одно: не убивайте юмор на первой же странице. Пожа-а-алуйста!

Толстой, улыбаясь в густую бороду, даёт согласие:

– Обещаю, но с тем условием, что за каждой шуткой будет стоять совесть, пусть и слегка усатая.

Вдруг налетевший ветерок, сдул со стола верхние страницы рукописи, обнажив зарисовку Льва Николаевича на тему: городские страдания посреди весенней пахоты.

«Тень от клоуна и свет от сердца: разговор о смехе и радости»

Старая кинобудка, заброшенная с тех пор, как фильм перестал быть магией и перешёл в разряд мелькающего стриминга. Пыль на поржавевших катушках блестит, как воспоминания о чёрно-белом счастье. Пауки усердно плетут свои сети между старыми афишами, где ещё можно разглядеть лицо в котелке и с тростью, навсегда застывшее между кадром и сердцем. Сквозь треснувшее, слегка покосившееся стекло пробивается свет, который мог бы быть солнечным, если бы не был таким печальным. Здесь встречаются те, кто знает, что искусство, это не трюк, а исповедь. И разговор между котом и Чарли Чаплином начинается не с приветствия, а с взгляда, в котором отражается вся эпоха.

— Почтенный сэр Чаплин, — начал кот, свесив лапу и придавая себе вид ленивого мудреца на пенсии, — скажите мне, как великому алхимику комедии, человеку, который заставлял смеяться залы, полные слёз, — что, по-вашему, важнее для человека: смеяться или радоваться? Не кажется ли вам, что смех — это нынче такая же подделка под чувство, как пена под кофе — вроде красиво, модно, но пусто?

— Достопочтенный и ироничный собеседник, — с мягкой тенью улыбки ответил Чаплин, медленно поворачивая в пальцах старую, натертую до блеска монету, как будто решал судьбу эмоций, — смех, мой друг, — это бегство, но не от себя, а от того, что давит. Это сопротивление трагедии с помощью лёгкости. Смех — это скафандр, в котором душа не задыхается. Когда человек смеётся, он не всегда счастлив, но он жив, он в моменте, в дыхании, в движении.

— Ах, какое прекрасное заблуждение, — мурлыкнул Хреномот, — достойное страниц русской классики, будь она комедийной. Но, простите, вы сейчас описали смех как форму спасения, а я о радости как о состоянии душевной полноты. Позвольте вам, уважаемый, напомнить: у Гоголя смеются носы, скачут шапки, летают чиновники — и что? Душа обнажается в

тоске, нет! Смех у нас, это не облегчение, а, увы, приговор. Когда человек живёт нерадостно, а ржёт, это значит, где-то внутри уже началась моральная гангрена.

— Но позвольте, — поднял бровь Чаплин, — разве радость возможна без лёгкости? Без способности абсурд воспринимать с ясной улыбкой? Я видел миллионы лиц — в залах, на улицах, в подвалах, и поверьте мне, смех был их последним прибежищем от бессмыслицы мира. А радость, которую вы воспеваете, к сожалению, редкая птица, она не приходит в серые будни, а вот смех — это птица в клетке, зато поющая.

— Уважаемый маэстро кинематографической печали, — прищурился кот, — да вы сейчас только что выдали апологию анестезии. Смех, согласитесь, это не лекарство, а обезболивающее, которое выдают взамен смысла, взамен настоящих чувств. И когда вместо тишины, в которой может родиться настоящая радость, звучит громкий хохот, я всегда думаю: это не веселье, это паника, замаскированная под шоу. Вот у нашего Льва Николаевича, простите, никто не смеётся, потому что всё слишком настоящее, и это, я замечу, делает счастливым, по-настоящему счастливым.

— Как же быть тогда, — задумчиво произнёс Чаплин, подперев подбородок тростью, — с теми, кто не может быть радостным, но ещё способен хоть над чем-то смеяться? Вы ведь не станете их осуждать? Я ведь никогда не думал, что смех — средство бегства; я полагал, что это мост между болью и покоем, между страхом и надеждой.

— Ах, достопочтенный сэр, — хмыкнул Хреномот, — у нас бы вам давно выдали справку: "состоит в хрониках народного облегчения". Но вот беда: слишком часто по этому мосту никто не переходит, ведь люди смеются, но остаются на берегу тревоги. Понимаете ли, смех стал симулятором радости, его делают, включают, дозируют. А вот радость, искренняя радость, она не смешит, она тиха и потому забыта.

— Вы жестоки, но справедливы, — покачал головой Чаплин. — Я всегда боялся, что, когда уйдёт сцена, люди будут смеяться по привычке. И если вы правы, и смех стал химией насаждаемых чувств, а не светом, тогда, быть может, нам пора снова учиться молчать, чтобы услышать радость.

— Наконец-то, — лениво зевнул кот, — вы заговорили, как Чехов на долгожданной пенсии. А ведь что такое радость, как не чувство, что ты жив, и не потому что смеёшься, а потому что знаешь зачем.

Тишина повисла в старой будке, паутина чуть качнулась, как занавес, свет погас, а где-то в углу остался смех — не громкий, не фарсовый, а такой, в котором было чуть-чуть тепла и почти настоящая радость.

«Слёзы улиц и перья балконов: размышление о бунте между строк»

Диалог В. Гюго и кота.

Где-то у крыши старого парижского дома на рассвете, где ещё дымят каминные трубы, а улицы под ногами дышат вчерашними песнями, стелился туман над черепичными крышами, как забытая мелодия революции, а вдалеке багровел контур Собора, чей голос веками тянулся над головами господ и бедняков. Воздух был свеж, но тёмен, словно перед бурей, которая, быть может, уже была, а быть может, ещё придёт. В центре плоской крыши, прямо у оградки, стоял Виктор Гюго, опершись на трость, как на фразу, которую он держал, прежде чем сказать. Чуть сбоку, устроившись на выбеленном камне вентканале, развалился Хреномот, усы которого ритмично дрожали от ветра и саркастической возбужденности.

— О, высокий трубадур народной боли, — начал Хреномот с особым мурлыкающим пафосом, — скажите мне, если возможно без слёз и марсельез, зачем вы так ярко и красиво писали о бедняках, если всё равно финал был прописан господами? Неужели вы и вправду считаете, что революция — не вспышка аффекта, а хрустальная необходимость?

— Мой ироничный спутник чердаков, где иногда обитает истина, — отозвался Гюго с мягкой печалью в голосе, — революция есть не аффект, но музыка страдания, накопленного веками.

Она не зарождается в манжетах, но в треснувшей подошве рабочего сапога. Я писал о господах, чтобы они увидели, что их зеркала давно не отражают улиц.

– Ах, как изысканно вы формулируете! – воскликнул Хреномот, вытягивая лапу в сторону дымящейся трубы. – Но всё же, позвольте заметить: вы романтизировали бунт, как будто он – цветок свободы, а не кирпич, брошенный в витрину. Простите, но у Достоевского, того же, революция – это болезнь идеи, а у вас – гимн. Не противоречие ли?

– Достопочтенный и остроумный кот, – ответил Гюго, не отвлекая взгляда от рассвета, – у Достоевского – душа, жаждущая прощения. У меня – народ, жаждущий хлеба. А между хлебом и прощением, если вы не заметили, лежит улица, вымощенная гильотинами и равнодушием. Я не воспевал кровь – я объяснял, почему она льётся.

– Уважаемый знаток человеческого крика, – протянул Хреномот, – не отрицаю вашей правоты, но скажите: если беднота всегда права, а господа всегда виноваты, не выходит ли у нас мораль с уклоном в пролетарский шантаж? Разве не может быть бедный – злым, а богатый – справедливым?

– Вы правы, – кивнул Гюго, – бедность не святыня, и роскошь не проклятие. Но когда общество целиком построено так, чтобы одни рождались в шелке, а другие в пыли – мы не имеем права на нейтралитет. Я не за бедных, я – за справедливость, которую разучились различать за шторами.

– Ах, как благородно, – усмехнулся Хреномот, – но тогда, позвольте вопрос: если революция неизбежна, почему её последствия так... некрасивы? Почему из ваших Жан Вальжанов чаще всего выходят не строители, а страдалцы, которых используют в следующем витке без права на голос?

– Потому, – ответил Гюго, – что революция – это всегда больно крик общества, которое слишком долго молчало. Мы не умеем её завершать красиво, потому что нас не учили слушать до. Если бы правду принимали раньше, не пришлось бы говорить её в улицах.

– Мой гуманист в алой рубашке, – сказал Хреномот, вставая и щурясь в рассвет, – вы мечтали, что господа покаются, бедные вдохнут свободу, а истина пойдёт по брусчатке. А получился, простите, переучёт трупов с музыкальным сопровождением.

— И всё же, — тихо ответил Гюго, — если хотя бы один человек, прочитав мою книгу, не станет равнодушным к голосу бедного, я писал не зря. А революция... она пройдёт. Но совесть, если её разбудить, останется.

Пауза.

На крышу упал голубь, встряхнулся и улетел.

Гюго смотрел ему вслед.

Хреномот сел, выпрямился и фыркнул, как бы говоря: «Мы ещё побеседуем».

А внизу улица уже шумела – так начинается каждая история, в которой всё уже написано, но никто не читает между строк.

«О королях и запахе величия»

Диалог кота и А. Дюма.

Хреномот, перебирая страницы «Трёх мушкетёров», с ленивым сарказмом в голосе и некой фамильярностью произносит:

– Скажите, Александр, вы правда считаете, что все описанные вами короли – это нечто благородное, изысканное и достойное обожания? Не сочтите за грубость, но, по-моему, это просто обычные люди, которые, увы, реже мылись и поэтому чаще пудрились, чем думали головой.

Дюма, иронически улыбаясь с лёгкой, почти мушкетёрской обидой на лице, отвечает:

— Ах, милейший, вы, по всей видимости, подходите к престолу с грязной тряпкой в руках! Короли, несмотря на их человеческие слабости, были воплощением эпохи, величия и

несравненного блеска; они носили парчу слов и золотые мысли так же, как вы сейчас — своё ехидство.

Хреномот, выглядывая из-за занавеса иронии:

— Блеск — возможно. Но от этого не перестаёт вонять во всех кулуарах замка. Например, тот же Людовик XIV построил Версаль, а туалеты не удосужился возвести. Что это — недосмотр или глупость? А если приглядеться к интерьеру того же Версаля, что мы увидим? Я вам скажу! На коврах — балет, под ними, уж простите меня за прямоту, — органика. Какая уж тут «величественная эпоха»? Простите, это маскарад с запахом аммиака!

Дюма, возвышенно, почти театрально, парирует:

— Вы забываете, что настоящее величие далеко не в сантехнике, а в поступках, в блестящих репликах при дворе, в осанке под пулями, в умении говорить «поп» с изяществом шёлковой перчатки. Соглашусь, они грешили. Но как? Грешили красиво, изысканно, чего не скажешь о ваших современных слугах народа.

Хреномот, хохоча во весь голос:

— Грешили, говорите, красиво? Вы это, простите, про кого? Про того же Людовика XV, который думал, что богослужение — модная форма сна, или про Генриха IV, который ел чеснок, невпопад цитировал Вергилия и водил десять фавориток сразу? По-моему, у вас любовные романы, а у них — венерология в бархате. Или я ошибаюсь?

Дюма, тяжело вздыхая, как человек, которому мешают любоваться шпагами:

— Увы, даже солнце отбрасывает тень. Но разве это отменяет сам свет? Я не защищаю их как святых, я всего лишь пишу о них как о простых людях, которые жили ярко, падали глубоко и умирали в позолоте, а не в бухгалтерии, как сейчас большинство простолюдинов!

Хреномот, остро подмечая:

— Ну да, конечно, смерть в позолоте — это элегантно, скажу я вам. Только вот за эту самую пресловутую позолоту, увы, как всегда, платила народная спина! Знаете, если честно, вы уж меня простите за прямоту, но вы романтизировали паразитов. И вместо того чтобы честно и без купюр описать, как один, чего уж здесь скрывать, съедал десять тысяч жизней ради мантии, вы написали, как он элегантно поцеловал руку герцогине в балконной сцене.

Дюма, тихо, с благородной грустью в голосе произносит:

— Быть может, быть может. Но, согласитесь, любая история без красивого стиля превращается в казённый протокол событий, а не в увлекательную жизнь. К тому же я не записал акты обвинения, я писал воспоминания о страсти, пусть и замаранной кровью. Согласитесь, пусть даже у короля грязные ногти, но, если его душа пишет стихотворение, я записываю именно это, а не факт неряшливой жизни.

Хреномот:

— А если история про налоговую реформу или про повышение пенсионного возраста для уже порядком истерзанных работой людей?

Дюма:

— Тогда её никто не читает. Именно поэтому я писатель, а не какой-нибудь казначей.

В воздухе повисает пауза. Хреномот нервно шевелит усами, Дюма поправляет перо. Где-то в тени появляется мушкетёр, но это уже совсем другая история.

«Хвост разума и лапа эволюции»

Старый кабинет, обитый тусклым бархатом, в котором дух формалина, табака и бесплодных медицинских споров давно вступил в союз с тишиной. На письменном столе — колба с мутной жидкостью, рядом томик Чехова, заложенный на слове «превращение», и газета с лужами от недопитого чая. За окном металась московская изморось, а в углу, на кресле, свернувшись клубком самодовольства и скепсиса, дремал кот, имя которому — Хреномот — звезда цензуры, которая не блекнет. Напротив, с важностью новой натуры и задиристым блеском в глазах, сидел гражданин Шариков, вооружённый риторикой и кулаками.

Кот, расправляя усы с тем достоинством, с каким академик поправляет очки, произносит:

– Позвольте, уважаемый господин Шариков, задать вам один в высшей степени философский вопрос: скажите, каково это – из собаки сразу в человека, да ещё без стадии мышления? Или всё же где-то в промежутке вы оставили в гардеробе билет на логику?

Шариков, почесав подбородок с видом, будто там хранятся тезисы, отвечает:

– А я вам вот что скажу, кот уважаемый... Человеком я был бы и без всяких ваших профессоров. Оно ж понятно: если природа зовёт – значит, готов. А интеллигентность, это, как его, навешанная конструкция. Главное, чтобы в паспорте было написано, а остальное приложится.

Кот, с ленивым презрением потянувшись, будто вспоминал Чехова, но не решился цитировать:

– Ах, уважаемый гражданин, если бы в паспорте писали ещё и диагноз, то вы, смею предположить, были бы зарегистрированы по ведомству зоологии, с пометкой: «прошёл краткий курс метаморфозы без экзаменов». И всё же, позвольте, профессор вас отмывал не ради прописки, а в надежде, что на вершине эволюции хоть один из бывших псов прочтёт «Каштанку» и задумается...

Шариков, с нарастающим пафосом и хмурым взглядом, восклицает:

– А вы что думаете, мы, значит, хуже вас, пушистых? Вы ж, как тот самый доктор, только говорите красиво, а на деле – смех да издёвки. А я вот человек, и на собрания хожу, и статьи читаю, и даже пишу. Правда, с ошибками, но душевно!

Кот, грациозно перекатываясь на бок, с видом внутреннего эмигранта квартиры, продолжает:

– О, не сомневаюсь! Душевность у вас, как флюс: внешне заметна, внутренне болезненна. Но знаете ли, сударь мой, даже Чехов в своих фельетонах не мог бы выдумать персонажа столь убедительно абсурдного. Вы – ходячий постскрипtum к его «Палате №6».

Шариков, с оттенком угрозы, но всё же соблюдая рамки диалога, кое как возражает:

– А я вам скажу, что, если б не профессор ваш... я бы всё равно вылез. Я – живой. А живой, значит, сильней! А то развели тут физиологии, интеллигенции, понимаешь... А человек – он в первую очередь кто? Он тот, кто есть, а не кто «должен быть»!

Кот, поднимая лапу, как дирижёр перед последним аккордом, провозглашает:

– Ах, какая дивная апология бытия без содержания. Уважаемый, вы как подзаголовок к несостоявшемуся опыту медицины: «Как не надо улучшать породу». И всё же, – кот мягко улыбнулся, – скажите честно: хоть раз в жизни вы чувствовали благодарность к тому, кто дал вам шанс? Или вы и дальше считаете, что из доброты получается лишь коммуналка?

Шариков, пожав плечами с грубоватой искренностью спрашивает:

– А чего благодарить? Дали и хорошо, пользуюсь! А жалеть себя не стану, и никого не прошу. Я привык быть самим собой, даже если кому это и не нравится.

Кот, закрывая глаза и зевая, как будто услышал диагноз эпохи:

– Вот и выходит, уважаемый товарищ: вас сделали человеком, а душу забыли вложить. Видимо, подумали, что вы сами донесёте... по дороге от собачьей миски до человеческой власти.

В тишине снова закапал чайник. Шариков достал махорку, а кот, мурлыча с лёгким раздражением, улёгся на газету, где крупным заголовком было написано: «Гуманность – новая норма. По утрам – анализы».

«Снежная метафора и рифмы биографии: доктор и поэт на краю эпохи»

Б. Пастернак и Хреномот беседуют о личном.

На заснеженной аллее у старой станции, где рельсы ведут не только в географию, но и в судьбу, медленно падал снег, но с такой торжественностью, будто каждая снежинка несла строку из неотправленного письма. Аллея возле полустанка была пустынной, но в этом безлюдии витал дух разговора, который только и мог родиться здесь, среди следов от саней и невиди-

мых поездов времени. Скамья, покрытая инеем, скрипела под весом накопившихся мыслей. На ней, укутавшись в шерстяной шарф и колючие воспоминания, сидел Борис Пастернак, с книгой в руке, будто она была продолжением его жизни. А на перроне, растянувшись как полемика в три акта, расположился Хреномот, свернув хвост, словно запятую перед каверзным вопросом.

– Достопочтенный Борис Леонидович, – начал Хреномот, вытянувшись с театральной строгостью, – позвольте и вам задать вопрос довольно несправедливый, но и не удобный, уж извините. Вот скажите, насколько глубоко Вы себя, так сказать, зашили в «Доктора Живаго»? Не получилась ли у Вас история не столько Юрия Андреевича, сколько поэтический диагноз на имя Борис Леонидович, с температурой, но без рецепта?

– Дорогой мой пристальный наблюдатель с пушистым хвостом, – ответил Пастернак, тихо, как пишут на свежем снегу поутру, – Вы правы, если ищите в романе эхо моей биографии, но заблуждаетесь, если ждёте от меня признания в автографе. Я вложил в Живаго далеко не факты, а пережитое сердцем, не хронологию, а температуру чувства, которое гаснет, если назвать его своим паспортным именем.

– Милейший поэт январской метели и заснеженного перрона, – хмыкнул Хреномот, – у Вас ведь получился не роман, а литературный градусник, по которому можно мерить не погоду, а культурную простуду XX века. Но позвольте, зачем доктору так много стихов? Или это Ваша ироничная месть медицине за то, что в рассказах Чехова врачи были заняты пациентами, а у Вас, извините за прямоту, влюблёнными паузами?

– О любознательный друг, – сказал Пастернак, загадочно улыбаясь собеседнику, – я вовсе не мстил медицине, я вознёс её до философии, ведь доктор Живаго далеко не терапевт в халате, он исследователь человеческой души, он врач, лечащий не раны на теле, а страшные переживания от смены эпох. Его стихи, как рентген судьбы, наложенный на жизнь того времени.

– Достопочтенный лекарь лирики, – покачал головой Хреномот, – но ведь Вы влюбились в Лару так, будто вся революция произошла ради их встреч на лестнице. Не слишком ли Вы перепутали социальную бурю с трепетной лирикой? Чехов бы, уж простите за мое сравнение, просто посадил бы обоих в амбулаторию и стал бы лечить грипп, а Вы их, с изысканной неспешностью, запеленали в метафоры и отправили в снегопад.

– Дорогой мой Хреномот, – произнёс Пастернак, – я не искал медицинского подтекста, я добивался мгновения смысла, когда любовь сильнее революции, и одна рука на чьей-то щеке важнее исторического указа. Живаго — это не бегущий от эпохи человек, он тот, кто хочет остаться человеком посреди бури, и если он молчит, то потому, что слово уже не в состоянии выразить всю глубину его чувств.

– О страстный утешитель эпох, – прищурился Кот, – выходит, Вы создали роман не для читателя, а для того, кто давно понял, что красота не спасёт мир, но хотя бы сделает его не таким неприлично уродливым? И Живаго, как я посмотрю, — это Ваш протест, но не с кулаками, а с острым пером, обмакнутым в чернила любви?

– Да, мой внимательный философ с когтями, – кивнул Пастернак, – я не хотел кричать, я хотел быть услышанным в тишине, когда она наступит после раската пушек и грома барабанов. Мой персонаж, вовсе не герой восстаний, а представитель осмысленного одиночества. Он живёт не наперекор времени, а в попытке с ним поговорить, не повышая голоса.

– Тогда, позвольте финальный выпад, – прошептал Хреномот, вставая, будто готовясь уйти, – не жалеете ли Вы, что написали этот роман не шифром, а письмом, которое откроют слишком поздно, когда пройдет время бурь?

– Нет, мой молчаливый друг, – ответил Пастернак, глядя в белизну пространства, – потому что некоторые письма доходят лишь до тех, кто уже умеет читать глазами души.

Снег продолжает падать, а на перроне еще нет поезда, но есть ощущение его скорейшего прибытия. Хреномот скрывается в сугробе, а Пастернак остаётся, как точка в конце строки, которую надо пережить, а не просто прочесть.

«Дон Кихот и социализм с привкусом копыя»

На каменистой равнине Кастилии, где ветер сдувает иллюзии с лиц, а тени старых мельниц по-прежнему кажутся чудовищами. Небо, высокое и суровое, как моральный выбор, нависло над двумя фигурами, что выделяются среди вечности: один – человек с гордостью в голосе и латами в прошлом, другой – кот, свернувшийся в полушутливое облако сарказма на седле, давно покинутом рыцарем.

Кот, криво усмехаясь, перебирая когтем край развеянной пергаментной страницы:

– О доблестный дон Мигель, отец рыцарей печали и вдохновитель поколений мечтателей-неудачников, ответьте мне откровенно, с тем благородством, которое вы столь щедро вкладывали в своего героя: почему же, ради всех святых и мух натурализма, вы сделали Дон Кихота настолько уязвимым? Его бьют, топчут, обманывают, а он в ответ – только книжные цитаты и обращения к кодексу чести. Вам не кажется, что если бы вы наделили его хотя бы парой привычек Ричарда Львиное Сердце, да ещё дали бы соратником кого-нибудь вроде Ульянова, он бы давно уже основал Союз Справедливых и разогнал мельницы с оркестром?

Сервантес, поднимая глаза к ветру, будто в нём звучал голос старинного латинского пролога:

– О благородный наблюдатель с усами, подобно теням библиотеки, вы мудро копаете вглубь – но, увы, не в том направлении. Дон Кихот не был создан для того, чтобы сокрушать плоть. Он – рыцарь идеи, символ любви к достоинству и жертва того, что ныне зовётся «цивилизацией без границ». Я создал не палача мира, но зеркало человечества, уставшего от собственной прагматики.

Кот, усевшись ровнее, как бы готовясь к серьёзному экономическому расчёту:

– Ах, простите, но в зеркало, из которого вылетают зубы, глядеть как-то неудобно. Ваш Дон – как санитарный анекдот: всех лечит, но сам в гипсе. Неужели вы не хотели хоть раз дать ему шанс – вонзить шпагу не в ветряк, а в настоящего злодея? Да хотя бы в ростовщика, как у нашего горячо любимого Раскольников. Или вы считаете, что просвещение – это быть избитым с особенно красивой мыслью на устах?

Сервантес, глубоко вздохнув, словно в груди его дремала вся Испания:

– Дорогой хранитель иронии, вы ловко подменяете месть справедливостью, а кровь – победой. Но Дон Кихот, при всей своей нелепости, не был слаб. Он был сильнее любого палача, ибо шёл туда, где мир боялся. Он нёс кодекс, когда все несли кошельки. Он проигрывал в бою, но побеждал в духе. А это, позвольте заметить, куда сложнее.

Кот, скрестив передние лапы и щурясь как следователь по этике:

– Позвольте, сударь, но если герой никогда не побеждает, это не роман, а статистика. Пусть ваш рыцарь был начитан, но разве этого достаточно, чтобы изменить эпоху? Русские, к слову, дали бы ему товарища Левина или хотя бы Павла Кирсанова – люди серьёзные, с пугливыми женами, но зато с практикой. А ваш – один, да ещё и на старом коне. Какой уж тут подвиг!

Сервантес, слегка улыбаясь – и грустно, и нежно:

— Ах, мудрейший Кот, не в победе же суть. Я писал о человеке, который не смирился с банальностью. Дон Кихот знал, что его будут бить, но всё равно поднимался. Это и есть главное: идти, зная, что не дойдёшь, но всё равно идти. Он — гимн человеческой непрактичности, не сводимой к выгоде.

Кот, опуская глаза и уже без издёвки:

– Признаю, звучит красиво. И знаете... быть может, вы правы. Быть может, в мире, где все учатся давать сдачи, действительно нужен хоть один, кто держит удар – с достоинством. Но всё равно: второй том, где Дон Кихот побеждает злодеев в парламенте, я бы всё-таки написал.

Сервантес, взмахивая пером в воздухе, как шпагой:

– А я бы прочёл его с интересом, милый Кот. Но оставим моему Дон Кихоту честь – ведь в эпоху, где побеждают только те, кто сильнее, он остался тем, кто чище.

На фоне мельниц опустился закат.

Кот прикрыл глаза, а Сервантес молча снял воображаемый шлем с головы своего рыцаря – и положил его между ними.

Как идею.

Не побеждённую.

«Аплодисменты в зал, смех в никуда: о шутке как диагнозе»

Хреномот и А.П. Чехов беседуют о «Кружке гогота»

В старом провинциальном театре, погружённом в лёгкую пыль и культурную тоску, под потолком, облупленным, как память о великом, качались остатки люстры, будто воспоминания о премьерах, что не случились. Кресла, потерявшие зрителей, но не достоинство, смотрели на сцену, на которой давно уже никто не играл Чехова. Зато повесили экран для вечерних показов юмористических шоу. Сквозь щель в боковом выходе пробивался запах кофе, реквизита и слегка подгоревших метафор. На кулисах спал Кот, свернувшись клубком цинизма на театральной пыли. А на стуле у края сцены сидел сам Антон Павлович, в пенсне, с лёгкой хрипотцой в голосе, словно только что вернулся с обхода — не больных, а зрителей.

Хреномот, потянувшись и зевнув с небрежной откровенностью существа, которому давно всё ясно, спрыгивает на край сцены и фыркает:

— Антон Павлович, простите за моё бодрое невежество, но как бы вы отнеслись к Кружку гогота? Эдакий храм иронии, где священники юмора — в новомодных пиджаках, а неразборчивые прихожане платят за счастье послушать, как умелый комик изгаляется над старушкой из Тулы или сантехником из Бирюлёво. Разве это не отражение живой, бодрой, демократичной культуры? И, главное, люди смеются — значит, довольны!

Чехов, сдержанно поправляя манжет:

– Я не против смеха, я против смеха, который не освещает, а ослепляет разум. Смех, как и любая сила, требует ответственности. Юмор может быть колким, может быть хлёстким, но если в нём нет сострадания, он перестаёт быть человеческим. Он становится удобным способом спрятать жестокость жизни в яркий фантик остроумия. Шутка, не заботящаяся о человеке, увы, не лекарство, а яд, искусно подмешанный в громкие аплодисменты.

Хреномот, лениво очерчивая усом в воздухе круг понимания:

– Но публика смеётся. Смеётся, Антон Павлович! Аплодирует, требует добавки. Это что же, по-вашему, массовая нравственная деградация? Или всё-таки терапия, простыми и доступными средствами? Ведь согласитесь, чем хуже жизнь, тем громче смех под шутку про незакрытую ипотеку и тещу. Разве не это вы мечтали видеть, когда писали про душу, тонкую, как рёбра провинциальной девушки?

Чехов, прищулив усталые веки и посмотрев в пустой зал, как в диаграмму человеческого безразличия:

– Нет, сударь, я мечтал, чтобы человек смеялся от познания себя, а не от унижения. Чтобы он видел себя, а не чужую глупость в подзорную трубу. Поймите, что смех может быть добрым, даже над собой если в нём есть немного света. Но когда он звучит так, чтобы ударить по тому, кто слабее, то он превращается в коллективную мигрень совести. Только совесть, увы, сегодня заглушена микрофонами.

Хреномот, проходя мимо таблички «Выход», будто проверяя, можно ли сбежать из эфира:

– Да ведь нынче всё можно, всё открыто. Смеются над верой, над бытом, над смертью. Всё, что раньше было поводом замолчать, стало поводом для пресловутой шутки. Вас бы сегодня отменили, Антон Павлович. За паузы, за тишину, за иронию, слишком похожую на размышление. Вы не формат. Не лайкабельно.

Чехов, глядя в безмолвие зала:

– Я бы не обиделся, и знаете почему? Потому что смех, как и мысль, требует тихого места вокруг себя, паузу, оттенка. Смех без тишины становится назойливой рекламой. Я никогда не боялся молчания, более того, я всегда считал его нужным. Поймите, чтобы человек рассмеялся по-настоящему, ему нужно остаться наедине с собой, хоть на мгновение. А если меня отменили, это значит, что я стал нектати для вашей эпохи. Но, возможно, я всё ещё буду кстати для настоящего человека.

Хреномот, идя по запыленной сцене:

– А если бы Вас всё же пригласили... ну, знаете, в Кружок? Вас бы посадили в первый ряд, как «икону театра». Вы бы пошли?

Чехов, чуть улыбнувшись одними губами:

– Я бы пришёл. Но знаете, как? В белом халате и не как зритель, а как врач. Посмотрел бы на лица, послушал бы и, может быть, выписал бы рецепт: тишину и одну хорошую фразу о человеческом одиночестве. Она лечит лучше, чем три шутки про ЗОЖ и два натужных крика из-за ширмы.

Хреномот, тяжело вздохнув:

– Эх, Вам бы в жюри, вы бы молчали и всех побеждали. Ведь молчание нынче редкий талант.

Чехов, не отрывая взгляда от кулис:

– Я не осуждаю, я смотрю и надеюсь, что в этом смехе кто-то однажды услышит не подводу к шутке, а настоящего человека.

Кот сворачивается в клубок на кресле первого ряда, накрывая лапой ухо, как будто тишина, это его личный выбор, а Чехов достаёт смятый платок и протирает очки. Зал пуст, но где-то, быть может, кто-то впервые не засмеялся, а задумался.

«О счастье, под которое не положили подушку»

Диалог Хреномота-Кота и Л.Н. Толстого об Анне Карениной

Кот, устроившись в кресле, лениво и с ехидцей заявляет:

— Лев Николаевич, я много раз читал вашу «Анну Каренину», конечно, не всю, потому что я кот, а у нас терпения ровно на один внутренний монолог, но скажите... зачем вы её... того? Ну, вы поняли. Паровоз, драма, судьба... А нельзя было добавить немного солнца, немного Италии, прогулки, детей, любви, наконец психолога нормального ей посоветовать?

Толстой, с тяжёлым вдохом, как будто душа его снова взялась за редактуру, отвечает:

– Мой милый друг... Анна не погибла от паровоза, она погибла от несовпадения между мечтой и реальностью, от своей невозможности жить вне истины. Я не писал трагедию ради возвышенного эффекта, я писал правду, которую душа отказывается забыть даже под лаской весны.

Кот:

– О, я вас умоляю, какая к черту весна! Как будто человечество не справлялось и с более серьёзными трагедиями, чем с банальными чувствами. Вы бы ещё написали: «Вронский не подал руку, Анна ушла в депрессию». Вы ведь понимаете, что убили не Анну, а возможность хэппи-энда, в который хотя бы раз хотелось поверить каждому читателю?

Толстой:

— Но ведь именно потому, что книга не получила счастливого конца, она осталась с читателем навсегда. Счастье — слишком лёгкая ткань, оно редко выдерживает переплёт. А страдание всегда «прошивает» сильнее. Пойми, Анна не была просто персонажем, она была вопросом, и я не имел права отвечать на него простым утешением.

Кот:

— Да что вы, Лев Николаевич, «счастливый финал» — это не пошлость, это месть жизни за все предыдущие главы. Я бы даже сказал больше: за время молодости, ушедшее на «Войну

и мир». Может быть, если бы вы чуть-чуть пожалели Анну, то читатели потом не устраивали бы свои драмы по вашим лекалам.

Толстой:

— А вы уверены, что пощада в данном случае необходима, более того, оправдана? Что настоящее счастье возможно после измены, нескрываемой лжи, разрушенной семьи, страха быть матерью и невозможности быть женщиной одновременно? Я вовсе не хотел наказывать её, я желал только показать, как тонка грань между любовью и саморазрушением. Если бы она выжила, Анна бы потеряла смысл как голос эпохи. А погибнув, она заставила эпоху услышать себя в ваше столетие.

Кот, вздохнув и свернувшись клубком:

— Ладно, слышали, но вот только с паровозом у вас, знаете ли, явный перебор. Нельзя же делать драму такой тяжёлой, что под неё не подложена даже подушка. Вы бы хоть кота ей оставили. Может, и не прыгнула бы под железные колёса.

Толстой, с усталой улыбкой на мудром лице:

— А вы, стало быть, кот-утешитель?

Кот:

— Ну что вы, нет, конечно, я нравственный корректор, я сижу на страницах человеческих судеб и периодически спрашиваю: «А точно так надо было?» И знаете, иногда авторы после вопроса переписывают финал! Может, вы бы тоже... через сто лет... издали версию: «Анна Каренина, жива и наконец-то выпалась»?

Толстой:

— Но разве это походило бы на правду?

Кот уже тихо:

— А разве истина всегда обязана быть такой трагичной? Вы же сами писали, что нравственное обновление возможно, так почему не дать его ей?

Толстой, долго молчит, потом медленно и уверенно отвечает:

— Потому что, быть может, она уже получила его — нет, не в этой жизни, но в той памяти, в которой живёт не как жертва, а как предупреждение. Ведь образ Анны — не просто образ женщины, это метафора любви, которая не смогла договориться с этим миром. И, выжив, она перестала бы быть честной.

Кот, вскакивая на подоконник и глядя вдаль, где загудел проходящий поезд:

— Вы, конечно, безнадежно «литературны», но знаете, Лев Николаевич... я всё равно верю, что где-то в черновиках вы оставили ей выход, может, не физический, но духовный.

Толстой, кивая, закрывает старую тетрадь. Кот замирает у окна; где-то за стеклом скрипит старый поезд, который сегодня проезжает мимо.

«Купля-продажа души»

Диалог Кота и Гоголя о «Мёртвых душах».

Хреномот, развалившись на обложке издания XIX века, с насмешкой произносит:

— Николай Васильевич, вы, конечно, человек эпохи, но посмотрите на Чичикова свежим, кристально чистым взглядом: ведь он — гений предпринимательства! Монетизировал ничто. Купил «покойников» и обернул их в актив. Скажите, разве не о таком герое мечтает свободный рынок?

Гоголь, с ужасом прижимая ладони к вискам, как будто слышит хор ангелов, бьющихся об земное, отвечает:

— Ах, милый кот... Вы говорите «актив», а я писал про бездну. Чичиков ведь не купец — это символ пустоты, странник без рода и света, обычный человек, который разменял свою душу даже не на деньги, нет, а на возможность считать мёртвое живым.

Кот, с ухмылкой:

— Ну, знаете ли, у нас нынче и банки кредитуют призраков. Есть такая избитая схема: берут паспорт покойника и на него оформляют кредит. Деньги себе, а проблемы — в могилу. Вы лучше со стороны посмотрите на его план: собрал явно фиктивных крестьян, создал очевидно подложное хозяйство. Да он мог бы возглавить стартап! Ему Мавроди в подмётки не годится! Кстати, вот ещё. Помещики, простите уж меня за прямоту, накопело, сами в деловом смысле — избитые маркетинговые типажи: Манилов — рекламная оболочка без продукта, Собакевич — сырьё, Ноздрёв — вирусный контент. Всё как в жизни, ей-богу!

Гоголь, захлёбываясь не то смехом, не то рыданиями:

— Но ведь именно в этом весь ужас и состоит! Ведь жизнь без духа стала продаваться, измеряться, уговаривать себя, что Россия — не поле, а прогнившая, серая бухгалтерия, в которой душу вносят в графу «потери».

Кот:

— Всё же, согласитесь: идея купить мёртвых — тонко, даже гениально, и до вас ещё такую аферу никто не оглашал публично, хотя в жизни и были прецеденты, но о них молчали. Ведь можно на этом делать немалый гешефт. Да к тому же он никого не убивал, не грабил, просто... оформил документ. Что ж тут плохого? Законность соблюдена, душа... ну, душа — это же просто единица учёта, разве не так?

Гоголь, бледнея как рукопись на сквозняке:

— Нет. Совершенно не так. Вот именно потому, что вы это говорите, я и писал: чтобы остановить этот холод, когда ум, оторвавшись от совести, начинает оформлять смерть в юридические папки. Моя книга — совершенно не про Чичикова; она про всех нас, когда мы переходим на «вы» с ложью в голосе.

Кот, лениво растягиваясь на страницах:

— А что вы хотели? Чтобы все вдруг прозрели, заплакали и пошли в монастырь? Нет, Николай Васильевич, человечество любит сделки. Особенно, когда цена не ясна, а товар невидим. Это позволяет делать навар. Мавроди вам в пример.

Гоголь:

— Поймите, я хотел, чтобы в прозрении не стыдились. Чтобы, прочитав мою повесть, человек не смеялся над Маниловым, а узнавал себя и замирал от этого узнавания. Моё зеркало не смеха ради, а чтобы в нём, наконец, стало видно лицо обывателя.

Кот, тяжело вздыхая:

— Но всё же вы недооценили рынок. Ваша повесть, а точное пророчество, теперь читают как анекдот про современных помещиков, но называющих себя олигархи. Вы всего лишь хотели зажечь свечу, а из неё сделали лампу в прихожей особняка олигарха, такую, знаете, стильную, но декоративную.

Гоголь, тихо, но твёрдо, отвечает:

— Если хотя бы один, хотя бы один, прочитав мой труд, вздрогнет не от смеха, нет, а от угадывания собственной жизни без цели, значит, я не зря прошёл этот сложный путь. Поймите, что мертвыми душами становятся не от смерти, а от того, что забыли, зачем живут.

Кот закрывает том. Гоголь сидит в полутени. Снаружи слышно, как кто-то считает: «один, два, три...» — не живые, не мёртвые. Просто — в списке.

«О добродетели и театре власти»

Диалог Хреномота, кардинала Ришелье и неожиданно врывающегося Вольтера

Хреномот, лениво переключая записки о нравственности, заботливо переписанные с полей чужих исповедей:

— Простите за наивный вопрос, но как вы, кардинал, умудряетесь совмещать жестокость с рассудительностью, цинизм с эстетикой, а лживую улыбку — с канонической риторикой? У вас это получается с такой элегантностью, будто речь идёт не о крови, а о репетиции оперы.

Ришелье, спокойно, отстукивая пальцем ритм по фарфору чашки:

– Мой дорогой, я всю жизнь был не драматургом, а режиссёром.

Пока вы ищете правду в словах, я ставлю акценты в действиях.

Добродетель – роскошь, позволительная в театре, но смертельно опасная в государственном управлении.

Вольтер, входя с книгой и лёгкой издёвкой, как будто опоздал нарочно:

– Ах, милейшие, рассуждаете о власти, как будто это наука.

Но, признаться, всё это не более чем театр с плохими актёрами и ещё худшей публикой, которая каждый вечер требует морали, но хлопает – исключительно преступлению.

Хреномот, мурлыча:

– Мда... если власть – театр, то вы оба достойны Оскара.

Один ставит трагедии, другой пишет сатиры.

А народ всё ждёт, когда из ложи выпадет хоть одна правда.

Ришелье, устало:

– Народ ждёт. Но не понимает, что ложа – это тоже часть сцены.

И что правда, выпавшая случайно, способна раздавить целое поколение.

Вольтер, усмехаясь:

– А я всегда говорил – лучше циничная ясность, чем благочестивое мракобесие.

Господа, вы нарисовали золотой занавес, но забыли, что сзади него всё та же старая сцена.

«Пепел слов и кошачья ирония: о сожжённой душе России»

На границе сна и яви, где мир ещё не проснулся, а прошлое не желает уходить, стоит каменная келья с полусторевшими страницами вместо обоев. Огонь давно погас, но запах сожжённой бумаги всё ещё висит в воздухе, словно чьё-то покаяние, слишком поздно начатое и вовремя прерванное. На полу разбросан пепел, который некогда был последней надеждой. На столе — раскрытая чернильница, в которой осталось больше слёз, чем чернил, а за окном — гнетущая пустота, словно мир исчез. Здесь, в этом заброшенном углу вселенной, где тишина пугает сильнее грома, сидит, сгорбившись, Николай Васильевич Гоголь, держа в скрюченных от долгой работы пальцах дрожащий остаток пера, а на печке, как на пьедестале почёта давно утраченного смысла, вальяжно лежит Хреномот, свернувшийся клубком, в котором больше вопроса, чем меха.

Кот, лукаво обводя взглядом сторевшие края бумаги, спрашивает:

— Николай Васильевич, милый вы наш пироман с дипломом отличия по метафизике, объясните мне, пока огонь окончательно не проглотил остатки смысла, что вы такого написали в третьем томе, что даже огонь вздрогнул перед этой рукописью, не решаясь объять её своими языками? Были ли там, не приведи бог, живые души или, наоборот, столько мёртвых, что бумага не выдержала тяжести строк?

Гоголь, с глазами, в которых сражаются свет и дым, отвечает:

— Ах, друг мой хвостатый, вы, как всегда, облачаете трагедию в меха сатиры, но не всякий дописанный текст достоин быть дочитан. Увы, третий том был не продолжением, он был исповедью, которую невозможно завершить, не осквернив мысль, ибо Россия в нём предстаёт уже не смешной, а обнажённой догола — в рубцах и бессилии, и, самое главное, без иллюзии, что смех способен её вылечить.

Хреномот, кивая в сторону кучки золы:

— То есть вы, получается, написали абсолютную правду... и, как я полагаю, испугались? Или же, быть может, осознали, что в финале будет не д'Артаньян на белом коне, а Чичиков не пойми на чём, да ещё и с балалайкой, поющий гимн бумажному раю?

Гоголь, горько улыбаясь:

— Я увидел самое страшное: увидел, что человек не меняется. Он нескончаемо путешествует, надеется, с лёгкостью пускается в новые аферы души, но на каждом перекрёстке выби-

рает не свет, а тень с удобствами. И если первые тома были зеркалом с гримасой, то третий стал зеркалом без рамы, и я, честно признаться, не выдержал собственного отражения.

Хреномот, лениво потягиваясь:

— Ну а если бы не сжигать? Если бы оставить как есть? Пусть бы читатель судил, возмущался, додумывал. Зачем вы, как средневековый алхимик, решили: «Всё, что вышло из меня, — это уж слишком»?

Гоголь, пристально смотря на раздуваемый сквозняком пепел:

— Потому что слово — это не просто строчка, это ответ перед вечностью. И если в слове нет любви, пусть даже через страдание, то оно превращается в суд. А я не судья, я простой человек, которому слишком часто снились ангелы, но просыпался я среди мёртвых душ в холодном поту.

Хреномот, уже насмешливо:

— А не слишком ли романтично, как для автора, который начал свой шедевр с «Покупки покойников»? Разве не прекраснее было бы довести эту траурную симфонию до логического конца, чтобы в финале, скажем, Чичиков купил самого себя?

Гоголь, печально и внятно отвечает:

— А если я вам признаюсь, что так и было написано? Что в третьем томе Чичиков шёл всё глубже, уходил в себя, погружался в душу, и в итоге оказался в пустом зале, где не осталось ни мёртвых, ни живых, а только он сам, без привычной нам маски?

Хреномот, от неожиданного поворота нахохлившись:

— Пугаете вы меня, батенька, такими литературными реверансами. Значит, в финале далеко не развязка, а душевный каннибализм, так, что ли? И если я прав, то скажите, пожалуйста, зачем вы всё сожгли, своё детище? Ведь не потому, что не дописали, а потому, что дописали слишком честно.

Гоголь, уже едва слышно:

— Потому что, дописав, я увидел то, что сам не смог вынести. Я словно очнулся и понял: иногда последнее слово — это далеко не точка, а пепел. Пепел, который должен оставить в себе тайну.

В келье снова становится темно. Кот спрыгивает с печки, осторожно ступая по золе. А Гоголь сидит уже не как писатель, а как человек, у которого остались только огонь и вера в то, что, может быть, кто-то допишет — и не побоится издать.

«О котах, хирургии и человеческих недоразумениях»

Диалог профессора Преображенского и кота.

В огромной квартире на Пречистенке, где потолки всё ещё помнят шёпот дооктябрьских ужинов, а стены хранят отблеск тени шляп дореволюционных гостей, за пыльным антикварным роялем разгорелась лампа с зелёным абажуром. В воздухе пахло настойкой мяты, согретой кожей кресел и чем-то неуловимо научным. Профессор Преображенский, в халате и с чашкой индийского чая, чинно расположился у стола, заваленного бумагами. Рядом, вальяжно устроившись на журнале «Красный медицинский вестник», свернулся Кот — умен, насмешлив и по-хозяйски наблюдателен.

Кот, обводя комнату взглядом эксперта по полкам и душевной анатомии:

— Достопочтенный профессор, позвольте мне начать этот разговор с простой, как пыль под скатертью, мысли: если бы вместо вашей многострадальной собаки вы взяли кота... хотя бы меня, — человечество избежало бы не только Шарикова, но и множества неловких объяснений в наркомздраве. Скажите, отчего же вы не решились на более интеллигентную морду?

Профессор Преображенский, отложив ручку и глядя поверх пенсне с усталой иронией отвечает:

— Милостивый мой, вы не учитываете одно обстоятельство. С собакой эксперимент представлялся мне проще — психологически, социально, даже, если хотите, драматургически.

Собака, в отличие от кота, существо лояльное, управляемое. Я не решился на кота потому, что он... как бы это сказать, не даётся в руки науке. Он философ, анархист, наблюдатель. Преобразовать кошку — всё равно что изменить природу сарказма. Категорически невозможно.

Хреномот, с лентой потянувшись и царапнув когтем заголовок «О пролетарской биологии», произносит:

— Вы говорите, профессор, о сложности... но, простите, в результате вы получили ходячую газету «Правда» с ногами, а не нового Гомункула. Шариков, с позволения сказать, — это не побочный продукт науки, а её трагический юмор. Ведь согласитесь, даже у Чехова в «Палате №6» пациенты были более содержательны, чем ваш обросший и озлобленный двуногий пёс.

Профессор, прищурившись, словно вспоминая запах спирта и анархии:

— Я вас понимаю и признаю: Шариков оказался неудачей. Но не в технике, нет. В обществе. Я дал организму органы, дал речь, и даже дал документы, но не дал одного — внутренней культуры. А кот, как вы, возможно, подозреваете, эту культуру носит изначально. Он изначально не нуждается в улучшении, и в этом... его проклятая сложность.

Хреномот, облизываясь с ленивым величием и понижая голос до шёпота театральной ложи, продолжает:

— Ах, профессор, ах, милый вы мой хирург с внутренним философом... ведь что такое собака в халате, как не ошибка кастинга? А я бы, скажем, даже не возражал стать экспериментом. Я бы читал «морепродукты» правильно, играл на виолончели, водил разговоры о Фрейде... и даже, быть может, изредка платил за коммуналку, ну, самую малость. Ну чем не пример идеального гражданина?

Профессор, усмехнувшись, но не теряя достоинства научного титана, отвечает:

— Вы бы ещё и в ЦК вступили, не сомневаюсь! Нет, дорогой кот, вы — не предмет опытов, вы наблюдатель над хаосом. Уж если бы я создал такого, как вы, мир бы окончательно потерял логику и приобрёл только афоризмы.

Хреномот, подмигнув и вытянув лапу в сторону окна, где шумела столичная жизнь:

— Ну, тогда оставим афоризмы на вечер, а наутро вы снова откроете «Ланцет», я — газету, и будем делать вид, что Шариков — это просто один неудачный вечер из вашей молодости. Хотя, между нами, он ведь до сих пор где-то там, в очереди за властью, с рентгеном вместо души.

Профессор, вздохнув глубоко, как после сложной операции, произносит:

— Да, сударь, он действительно там со своим другом в кожаной куртке. Но знаете, иногда мне кажется, что я всё же создал не Шарикова... а зеркало. И в этом отражении не моя ошибка, а диагноз надменному и необразованному человеку.

Кот зевнул, профессор налил себе ещё чаю. Оба молчали. И в этой тишине звучал весь трагикомизм века: наука, которая слишком рано поверила в возможность переделать общество.

«Анна на балу и под небом Парижа»

Диалог А. Дюма и кота.

Они сидели в старом зимнем саду на склоне Монмартра, где за коваными решётками из роз и теней виднелась растекающаяся по крышам огненная вуаль заката. Вокруг пахло типографской краской из книги, остывшим кофе и грядущими откровениями. На мраморном подоконнике, облокотившись на переплетённые шпагатом тома Толстого, развалился кот — ленивый, наблюдательный, ядовито-ироничный. Напротив, в глубоком кресле, словно сошедшем со страниц «Графини де Монсоро», восседал Александр Дюма — с походкой мушкетёра в голосе и глазами, в которых жила драма всей Франции.

Кот, важно обвивая лапами чашку с недопитым чаем:

— Досточтимый мсье Дюма, как человек, знакомый с пером, шпагой и винтажным благородством, скажите мне вот что. Представим, что наша русская страдалица, мадам Каренина,

родилась далеко не в Петербурге с его светскими лицемерами и суровой судьбой, а в жарком Париже, где благородные дамы грешат с нескрываемым изяществом. Уж не думаете ли вы, что там, где у нас рельсы, у вас нашёлся бы маскарад и четыре ухажёра, предлагающих не трагический конец, а гардероб из красивых платьев?

Дюма, откинувшись и сцепив пальцы, как заговорщик романтической эпохи, отвечает:

– Дорогой мой утончённый и когтистый оппонент, вы попали точно в точку! Позвольте уверить вас, что в Париже мадам Каренина не погибла бы под железными колесами судьбы, а вознеслась бы на балкон любовных драм с видом на неспешную Сену. В моём Париже страсть — это искусство, а падение, всего лишь небольшая пауза перед новым сезоном. Анна бы не погибла, она бы зацвела, как роза, быть может, став даже покровительницей нового литературного салона для французских почитателей моего таланта.

Кот, мурлыча почти философски, но с обидчивой остротой классического школьного критика, произносит:

– Ах, сударь, вы, конечно, ловки и изысканы в пируэтах прозы, но скажите мне, кто спасает русскую женщину от самой себя? Там, где ваша героиня садится в фаэтон, чтобы ехать на приём, наша – в купе, чтобы ехать в вечность. И знаете почему? Потому что ваш Париж — это про форму тела, а наш Петербург, про пустоту в душе. Поверьте моему пушистому опыту, Анне в Париже хватило бы ровно одной недели до нервного срыва, и уж не сомневайтесь, она бы предпочла Сену с видом на Нотр-Дам, чем терапию у модного доктора.

Дюма, вознося брови с тем же достоинством, с каким его мушкетёры брали неприступную Бастилию, возражает:

– Милый друг, не путайте темперамент с географией! В Париже есть ветер, который лечит сердце. У нас даже беда подаётся на фарфоре, и, быть может, ваша Анна нашла бы не гибель, а поэзию. Вы же знаете, любовь — это не преступление, если она сопровождается хорошим освещением и достойным туалетом.

Кот, вальяжно царапая лапкой обложку Толстого:

– Увы, милейший, но мне кажется, вы излишне надеетесь на декоративность нравов, забывая, что у нас даже дуэль — это эпилог, а не развязка. Да и, простите, но, если бы Анна жила в вашем Париже, её, скорее всего, соблазнил бы какой-нибудь кудрявый маркиз, заваленный долгами, но с очень красивыми манжетами, и вот тут, поверьте мне, трагедия была бы не в депрессии, а в ипотеке.

Дюма, со всей широтой романтического плеча, парирует:

– Но даже и в этом случае, мой остроумный собеседник, в её жизни была бы прекрасная музыка, роскошные платья, умилительная фраза, произнесённая перед венецианским зеркалом, и, может быть, в конце, не смерть, а просто переписка с бывшим, воспетая в стихах.

Кот, уже тихо, как будто сам себе:

– Всё же, мсье Дюма, мне кажется, что если бы она и выжила, то только чтобы однажды всё равно сказать: «Париж — это роскошь для тех, кто не слишком любит всерьёз». И знаете, что? Может быть, именно это и спасло бы её.

Старый сад замирает и сквозь листву медленно опускается французский вечер. Кот смотрит в темнеющее окно, а Дюма поднимает перо, словно собирается начать роман, в котором Анна остаётся...

«Локдаун с привкусом хины: медицинский диспут в тени абсурда»

Диалог Профессора Преображенского и доктора Живаго.

В полутёмной библиотеке старой московской квартиры с кожаным диваном, запахом йода, карболки и слегка выдохшихся идей у стены горела лампада, отбрасывая колеблющийся свет на шершавый корешок старого тома «Очерки по физиологии». Из окна сочится январский воздух; в нём — тишина улиц, на которых внезапно исчезли шаги. Сквозь пыль на столе пробивается луч света — не просвет, но и не диагноз. Среди густой тени, где книги стоят,

как пациенты, вытянувшиеся в очередь к Вечности, сидят Профессор Преображенский и Доктор Живаго: один — в халате с накрахмаленными манжетами, другой — в поэтическом сером пальто. На спинке кресла, демонстративно перебирая лапами, развалился Хреномот, вечно лишённый страха, но переполненный ехидной внимательностью.

— О, досточтимый коллега в стихотворной маске, — начал Профессор, откидываясь на подушку, — позвольте вас спросить, как вы отнеслись к так называемому мероприятию под названием самоизоляция? Эта грандиозная симфония беспомощности, где врачей заменили таблицы, а пациенты стали функцией в статистике. В мою бытность это называли бы не мерами предосторожности, а эпидемией гражданского малодушия.

— Милый Профессор, — мягко отозвался Живаго, разглядывая запотевшее стекло, — но ведь вы не можете отрицать, что иногда отступление — это форма заботы. Я видел лица людей, заболевших, и лица тех, кто выжил, потому что остался дома. Возможно, это и не доблесть, но уж точно не глупость.

— Благородный защитник новых протоколов, — фыркнул Хреномот, перебирая хвостом, — да вы оба звучите, как две стороны одной санитарной утопии! Один считает изоляцию трусостью, второй, героизмом, а между вами маска, которую никто не умеет носить правильно. Ах, Чехов бы сказал: «Самоизоляция полезна лишь тем, кто в обычное время никому не нужен». А теперь её вознесли до уровня священного долга.

— Уважаемый четвероногий философ, — спокойно произнёс Преображенский, — вы, конечно, как всегда остроумны, но поймите: медицина — это не театр и не директива. Когда государство заменяет врачебный диагноз универсальным карантинном, это уже не наука, а судебная ошибка в белом халате. Я лечил организм, а не поведение...

— И всё же, — ответил Живаго, — вы не учитываете моральную нагрузку. Не всегда врач спасает у постели, иногда он спасает, настояв на паузе. Я не в восторге от локдаунов, но видел, как они спасали стариков, которых вы вряд ли бы взяли в операционную. Это тоже жизнь, не правда ли?

— Ах, как лирично! — заметил Хреномот, вытянув лапы. — По-вашему, выходит, что «ничего не делать» — новая форма гиппократовой клятвы. А может быть, вы предложите лечить и инфаркт «зумом»? Или назначить антибиотики по фотографиям из Инсты?

— Сударь, — строго проговорил Профессор, — я, между прочим, не говорю о полном отрицании новых подходов. Я говорю, что вся эта так называемая пандемическая практика — далеко не наука, а пантомима! Сидеть дома — это вам не лечение, а психологическая капитуляция с претензией на солидарность.

— Простите, но мне кажется, — возразил Живаго, — что вы всё ещё видите человека через микроскоп, а не через окно. Мы не можем рисковать миллионами ради эстетики свободы. Жизнь — это не лекция, а живое дыхание, которое порой приходится оберегать дистанцией.

— Ах, вы так говорите, словно мир до ковида был переполнен состраданием, — вставил Хреномот. — А ведь по факту все эти маски — маскарад, в котором каждый боится не заболеть, а быть ответственным. И в этой панике забыли главное: болезнь не только в вирусе, но и в том, как с ним обходятся.

Костяшки пальцев Преображенского постучали по столу, Живаго закрыл глаза, как будто выдохнул строку, а Хреномот умывался в углу, словно умывал эпоху.

«О нравственности и общественном самообмане»

Диалог Хреномота и Л.Н. Толстого.

Хреномот, укладывая на стол пухлую папку с пометкой «нравственные реформы общества, XX–XXI вв.», спрашивает:

— Лев Николаевич, вот вы всю жизнь честно и неустанно искали истину, усердно копали под ложь, вслушивались в голос совести. А общество, как по мне, всё больше и больше напоминает человека, который говорит про любовь к ближнему исключительно через зубы, с бумаж-

кой в руках и заранее приготовленной улыбкой на лживых устах. Вы ведь это тоже ощущаете, видите?

Толстой, вспоминая, как звучит внутреннее молчание, отвечает:

— Да, я это прекрасно видел, но гораздо страшнее мне всегда казалось не лицемерие, а то, как легко и с каким облегчением человек убеждает себя в собственной правоте, когда эта правота требует от него только слов, а не поступка. Общество в этом смысле подобно ученику, который усердно выучил нравственность по истрепанному конспекту, но никогда не открыл ни одну страницу подлинной, настоящей книги жизни. И к прискорбию, я тоже часть этого общества. Но как известно, я не покладая рук сражался и отстаивал нравственные ориентиры.

Хреномот:

— То есть, по-вашему мнению, современный человек не злобен, а просто... удобен? Так что ли?

Толстой:

— Понимаете, в чём всё дело: удобство — это первейшая форма отставки нравственного развития. Человек, устраивающий свою личную жизнь с максимальным комфортом исключительно для тела и с минимальной тревогой для совести, — это, скажу я вам, самый опасный гражданин мира. И знаете почему? Он не порицает, не перечит, не казнит; он просто одобряет молчанием всё то, что творится вокруг него. Может показаться, что он не совершает зла. И отчасти это так. Но таким поступком он его рационализирует. И потому зло в его исполнении кажется обыденным, даже вежливым, если хотите — удобным!

Хреномот, скептически прищуривая глаза:

— Но неужели вы искренне считаете, что можно построить добродетельное общество на одной только совести? Без закона, страха, налогов, да и, простите, без практических кнута и пряника? Как по мне, и со мной согласился бы сам Ришелье, это недостижимо.

Толстой:

— Позвольте! Я не говорю о переустройстве общества, я всего лишь инженер человеческих душ, и ко мне многие прислушиваются! Я говорю как простой человек, которому невыносимо жить в путях лжи. Закон, страх, кнут — всё это нужно, пока люди не проснулись от зловещего сна. Поймите: нельзя вечно принимать этот сон за незыблемую норму. Нравственность — это отнюдь не то, что придумано для удобства и комфорта. Это то, что будит в человеке душу. А душа не спрашивает: «Это удобно?» Она ставит вопрос прямо и без застенчивости: «Это правда?»

Хреномот:

— Хорошо, с вами можно согласиться, но, простите, как в таком случае быть с реальностью? Вы же видели, как обычные люди читают ваши, позвольте быть откровенным, нескончаемые трактаты о непротивлении злу, и тут же идут, чтобы настучать на соседа. Вы им талдычите про идеалы, а они вам в ответ про "не всё так однозначно".

Толстой:

— Да. К прискорбию, вы правы: я глубоко ошибался, думая, что мои слова могут быстро изменить погрязший в пороках мир. Но я никогда не ошибался в том, что мои слова обязаны прозвучать. Даже если тысяча людей их отвергнет, один да услышит — и этого достаточно. От одной спички зажигается пламя. Поймите, нравственность — не политика, не стратегия, а семя добра. И никто не может предсказать, в каком сердце оно взойдёт и когда. Поэтому ты должен сеять своими словами доброе, вечное.

Хреномот, теперь уже очень внимательно:

— Но разве человек сегодня не перегружен бытовыми заботами, не погряз в хаосе смрада и всякого рода публичной требухи? Посмотрите, он устал от морали, от лозунгов, от чужих и по сути ложных ожиданий. Может, пора ему дать право просто быть слабым?

Толстой, спокойно, твёрдо и уверенно отвечает:

— Человеку ни в коем случае не следует давать право быть слабым — он его себе уже дал. Ему нужно напомнить, что он может быть сильным, очень сильным. Нет, не для побед, не для славы или похвалы, а для познания правды и истины. Я искренне верю, что даже в самом измождённом, согбенном человеке всё же живёт возможность восстания совести.

Хреномот, мягко кивает, почти серьёзно отвечает:

— Вы, конечно, Лев Николаевич, со своими революционными взглядами на мир, очень опасный человек для его устоявшегося порядка. Знаете, что после разговора с вами уже совершенно невозможно шутить про общество так легко, как раньше.

Толстой, уже с лёгкой улыбкой:

— А я всю жизнь боялся, что после разговора со мной человек только пожалеет, что не промолчал в самом начале. Но если вы ушли от меня хоть с каплей беспокойства, то это значит, что я сказал не зря.

Пауза. Хреномот аккуратно закрывает папку с надписью: «Нравственность XXI века». Толстой поднимается и медленно уходит туда, где не нужно оправдываться перед собственной совестью за голос своего сердца. А где-то за спиной у обоих общество продолжает искать лайфхаки, скидки и листать ленту.

«Месть под соусом благородства: кот в замке Монте-Кристо»

На просторной террасе над морем, где тёплый воздух смешивает ароматы жасмина и соли, волны набегают на скалы, как воспоминания на совесть, а чайки, кружась в небесной тишине, кажутся свидетелями старинных дуэлей, где побеждала не сталь, а выдержка. На кованом столике — кофе, густой, как сюжет. Под лавровым деревом устроился Кот — гладкий, как философия, и мягкий, как издёвка. Напротив, с величественной осанкой и лёгкой тенью драматического великолепия, сидит Александр Дюма.

Кот, лениво потягиваясь и глядя на чайку, как на критика из XIX века:

— О, уважаемый властелин шпаг, плащей и бесконечной доблести, позвольте мне задать вопрос, с которым я живу уже не одну книжную полку. Не находите ли вы, что весь план графа Монте-Кристо, при всём его театральном изяществе, можно было бы упростить, сэкономив не только на каретах и мраморных ступенях, но и на драматических монологах? Ведь, скажите на милость, нельзя ли было, например, просто запустить хорошо подготовленную утечку компромата, нанять пару ушлых адвокатов и раздавить мерзавцев через банковские схемы и налоговые расследования? По мне, так *vengeance à la* современность куда эффективнее.

Дюма, величественно откинувшись на спинку кресла, как будто в этом жесте заключалась вся честь Франции:

— О проницательный и, несомненно, цивилизованный Кот, вы говорите словами нового мира, где месть подаётся в формате Excel, а честь — в формате PDF. Но вспомните, милостивый, я писал не о наказании, а о возвращении величия души через страдание, выдержку и расчёт. Граф не мстил сгоряча. Он готовил — как гурман готовит блюдо: долго, тщательно, с пряностями характера и гарниром роковых совпадений.

Кот, морща нос и указывая лапой на дальний мыс, словно там прячется более логичный финал:

— Прекрасно, благородно, но, простите, излишне избыточно. Вас не смущает, что граф потратил столько сил, что вполне мог бы за это время основать фонд помощи пострадавшим от предательства, открыть университет благородной памяти и по совместительству написать бестселлер в жанре «саморазвитие сквозь кандалы»? Вон у Достоевского, например, наказание Порфирия Петровича куда экономичнее, но эффект — прямым попаданием в мозг.

Дюма, склонив голову с элегантно грустью:

— Ах, да, вы правы — у ваших классиков иной масштаб глубины, иной стиль страдания. Но, позвольте, мой граф был не философом, а героем. Его оружие — справедливость, отлитая

в золоте, его месть – не месть, а искусство. И если он действовал как дирижёр трагедии, а не как менеджер с Уолл-стрит, то разве не в этом – красота?

Кот, скребя когтем по ножке стола:

– Ах, сударь, я не отрицаю вашей красоты. Но у меня, как у читателя, возникает ощущение, что ваш герой не столько мстил, сколько наслаждался процессом – словно гурман трагедии, распивающий месть глотками, смакуя каждый стон обидчика. Всё слишком безупречно, слишком театрально. А ведь можно было – быстро, точно, в два удара, и по Уголовному кодексу.

Дюма, задумчиво глядя в горизонт:

– Быть может. Но ведь величие человека – не в том, как быстро он побеждает, а в том, насколько достойно он позволяет злу рассыпаться под своей тенью. Месье графа – это не юриспруденция, это литературное месмеро, в котором каждый из врагов сам плёл свою сеть, не зная, что уже – в чужой.

Кот, ухмыляясь и облизывая ус:

– Что ж, тогда позвольте хотя бы предложить издание в двух вариантах: первая – для эстетов, готовых пережить каждую трагическую паузу, и вторая – для котов, у которых девять жизней, но ни одной – на три тома монолога. Назовём её «Граф Монте-Кристо: версия для деловых».

Дюма, смеясь, но с оттенком уважения:

– Блестяще, сударь. Но знаете, даже самая короткая версия мести не даст того аромата, который появляется, когда человеческая боль проходит через меру и выходит с другим лицом – спокойным, справедливым, неумолимым.

Кот, вставая и пройдясь по балюстраде:

– Да... лицо справедливости. Только вот оно слишком часто оказывается лицом театра, а не закона. Но, знаете... ваш граф – харизматичен. А харизма, как известно, – главный ингредиент во всех трагедиях.

На горизонте гасло солнце.

Дюма поднёс чашку к губам, Кот улёгся на перилах, И оба понимали: месть может быть разной – но если она хорошо написана, её простят.

Даже коты.

«Палата №6. Сезон первый, эпизод диагноз: сарказм»

Диалог Хреномота и А.П. Чехова о возможной экранизации «Палаты №6» в стиле «Интернов»

В прохладной библиотеке провинциальной больницы, где страницы книг пахнут настоем ромашки и старой типографией, в кресле с облупленными подлокотниками дремлет Чехов, в белом халате, слегка наклонённый вперёд, будто прислушивается к внутреннему диагнозу эпохи. Рядом, развалившись на регистратуре, как на сцене судебной драмы, лежит Кот – вечно присутствующий свидетель странной логики человеческой медицины. За окном медленно опускается вечер, как занавес, скрывающий трагикомедию бытия.

Кот, перебирая усами как библиотечными карточками, изрекает:

– Достопочтенный Антон Павлович, представьте себе картину: Палата №6, но не как душевный ад, а как ситком с хирургическим ритмом. Вы в роли сценариста, я в роли продюсера с девятью жизнями и, возможно, с девятью зрительскими долями. Герой – доктор Рагин, но теперь с планшетом, бородой модной формы и склонностью лечить не разум, а рейтинги. Что скажете?

Чехов, медленно поднимая взгляд от исписанного рецепта, с усталой ясностью замечает:

– Дорогой мой, вы предлагаете превратить исповедь в клинический стендап. Ведь Палата №6 – это не помещение, а диагноз нации, где каждый больной – голос совести, а врач – её глу-

хота. Но если вы настаиваете... быть может, в этом есть логика: ведь нынче легче рассмеяться, чем понять.

Кот, усмехаясь как санитар в ночную смену:

– Ах, как благородно сказано! Но, позвольте, а разве доктор Хаус не борется с теми же внутренними демонами, только с сарказмом по рецепту? Мы просто добавим немного титров, немного саундтрека и диагноз: «медицина как зеркало общества». Вместо философских прогулок – монологи в курилке. Вместо трагедии – драмеди.

Чехов, задумчиво потирая висок, словно нащупывая мысль, скрытую под лобной костью:

– Возможно, в вашем кошачьем безрассудстве есть зерно зернистой истины. И всё же я боюсь, как бы мы не превратили страдание в анекдот, а одиночество – в монтажную склейку. Герой у меня должен мучиться долго, как затянутая тишина в стационаре.

Кот, подтягиваясь и устраиваясь на стопке историй болезни:

– Да, но и в вашей версии он мучился так долго, что зритель рискует вылечиться раньше, чем герой. Мы должны облегчить страдание до формата двадцати двух минут. Назовём пилотный эпизод: "Паранойя и печень: первое знакомство с внутренним миром пациента". Подумаем над рекламой: "Когда ваши диагнозы говорят с вами – зовите врача... или сценариста."

Чехов, с грустью терапевта, читающего соцопросы:

– А как же пациенты, мой друг? Что мы скажем тем, кто узнает себя в Иване Дмитриевиче, но не сможет смеяться, потому что уже заперт внутри себя?

Кот, внезапно серьёзно, сгибая хвост как точку с запятой:

– Мы скажем, что смех – это не побег, а лестница. Просто иногда она ведёт не вверх, а внутрь. Смеяться над собой – это уже почти выздоровление. А если за смехом идёт пауза, как у вас между репликами, значит, кто-то уже задумался.

Чехов, откидываясь назад и глядя в потемневшее окно:

– Тогда давайте. Но только одно условие: каждый эпизод заканчивается не шуткой, а вопросом. Чтобы зритель не просто выключал телевизор, а выключал ложь.

Кот, мурлыча с умом:

– Согласен. И пусть за каждым гэгом будет диагноз. А за каждым диагнозом – драма. Но поданная с перчатками и хорошей озвучкой.

За окном гаснут последние лучи дня, медленно, почти медицински точно. Сцена, как всегда, остаётся пустой, но в воздухе пахнет чем-то похожим на понимание.

«О крысах, власти и высоком лицемерии»

Диалог кота и кардинала Ришелье.

Хреномот, грациозно усевшись на папку с надписью: "Политика 17 века. Версия для наивных.":

– Ваше преосвященство, вроде так к вам следует обращаться, скажите мне только честно и если можно, то с оттенком малиново-католической иронии: вся ваша утончённая, изысканно-подлая, амбразурно-манипулятивная политика, это просто способ распахивать крыс по клеткам, не забывая при этом поставить им бархатные занавески? Или что-то иное?

Ришелье, не поднимая глаз, листая порядком истрепанный документ с печатью короля:

— Милый мой кот, вы забываете, что даже крысам нужен порядок. И если бархат на их клетках помогает им не грызть друг друга раньше срока, то я лишь исполняю простую санитарную работу. Надеюсь, вам понятен мой ответ.

Хреномот:

– Санитарная этика, как мило! То есть, если я правильно вас понимаю, вы облачаете лицемерие в достойное кружево, а явное предательство в чеканный, избитый веками латинский афоризм, и всё это называете «государственным равновесием»?

Ришелье, с холодной лаской, отвечает:

— Равновесие, мой саркастический друг, достигается не объятиями, а уравниванием интересов, что, как вы догадываетесь, требует хирургической точности и... молчания в нужный момент. Мораль, видите ли, слишком громкая дама для переговоров. Разве вы не находите?

Хреномот, кривя усы:

— Ну конечно, конечно! Тогда объясните, что делать с тем фактом, который, уж простите меня за прямоту, ведь я не могу иначе, указывает, что ваша «точность» чаще всего заканчивается головами в корзине, а ваша «государственная целесообразность» всегда пахнет ладаном, умело смешанным с изысканной интригой, явным шантажом и тонкой душевной гнильцой?

Ришелье:

— А что вы предлагаете взамен? Открытые выборы среди крыс? Публичные исповеди в парламенте из мышеловки? Нет-нет, извините, я не хищник, я всего лишь архитектор клеток, в которых люди добровольно живут, мечтая о свободе.

Хреномот, не отступая, продолжает:

— Значит, вы и есть тот самый добрый демиург, который строит клетку так тонко, изысканно и гениально, что крыса думает, будто это балкон? Ах, как благородно, как ароматно, с налётом утончённого эстетизма.

Ришелье, улыбаясь, словно венецианская маска:

— Вы, как всегда, прекрасны в своей прямолинейной гибкости. Но вы ведь и сами понимаете: мораль не принцип, а всего лишь необходимый инструмент, и в руках честного кардинала она гораздо полезнее, чем в устах расстроенного политика.

Хреномот:

— Мораль в ваших руках, уж извините, — это серебряная ложка в яде, поданная с великой заботливостью. И вы как никто умеете улыбаться так, что после этого долго не покидает непонятное чувство: вас благодарить или бояться.

Ришелье, вставляя перо в чернильницу:

— Лучше делать и бояться, чем молчать и надеяться. Ведь слово — это ветер, а приказ — факт. А кто спасает государство, не обязан спасать чьи-то иллюзии. Разве вы не согласны?

Хреномот, уже глядя в окно:

— И всё-таки... в одной из клеток, в самом дальнем углу, я слышал крысу, которая неустанно молилась не вам, а справедливости. Интересно, вы это предусмотрели в своих политических чертежах?

Ришелье, уже спокойно:

— Конечно. Для этого у нас всегда предусмотрено окошко в потолке. Пусть молится. Лишь бы не грызла прутья раньше времени.

Кот морщит нос от повеянного непонятно откуда запаха ладана и явной интриги. Ришелье пишет очередной приговор. Мораль уходит из помещения на цыпочках, не оставив следов своего пребывания.

«Красный пар и чёрный хвост: о мечте, революции и гудке, который не стих»

Беседа Ленина и кота.

Старый вокзал, где поезда уже давно не ходят, а на табло по-прежнему мигают надписи: «Отменён. Перенесён. Не прибыл». Пыль на неровно стоящих скамейках лежит ровным слоем, как на утопиях, оставленных в спешке. Сводчатый потолок сильно облуплен, но на нём всё ещё видны яркие звёзды, когда-то нарисованные жёсткой рукой: небо подменили огромным флагом. Окна разбиты не пулями, а накопившимся разочарованием. Воздух пропитан гарью митингов, запахом свежих листовок и крепким чаем из жестяной кружки. Здесь, в заброшенном зале ожидания истории, ничего не звучит, кроме глухого эха лозунгов, давно ушедших в подполье собственной же истории. На железной скамье сидит Владимир Ильич, в своём плаще, не знаящем цвета пыли, и с глазами, в которых всё ещё горит мировая идея. На подоконнике

— Хреномот, невпопад обмотавшийся красной лентой, как хвостатый символ здравого сомнения и искра надежды мирового пролетариата на лучшее.

Хреномот, лениво играя ленточкой, словно листает архивы, вопрошает:

— Владимир Ильич, скажите мне, как живой и неуклонный генератор идеи, ну почему вы не остановились в Цюрихе с видом на Альпы? Было бы мило: молоко, газеты, коты, и самое главное никакой гражданской войны и всего вот этого вот. Вместо этого вы сели в plombированный вагон, словно старая посылка от истории самой себе, и рванули в империю, чтобы всё разнести к чёртовой матери. Зачем?

Ленин, не торопясь, словно собирает речь в комок гранита, отвечает:

— Потому что никакие Альпы не заглушают стоны тысяч людей, и никакое молоко не отмоев настоящую правду, а перемены без крови лишь перепись страданий в новую ведомость. Да к тому же, и вы это должны знать, революция не туризм, товарищ Кот, а последний и надежный способ разбудить спящий народ, уснувший в навязанных надеждах, которые никогда не сбываются.

— А вагон? — вклинился кот.

— А вагон — это вам не капсула, а искра, а я не пассажир, позволю заметить, а огонь в сухой траве векового покорства.

Хреномот, вытягиваясь:

— Ах, как звучит, почти как передовица. Но вот скажите мне, любезнейший, если народ спал, может, стоило разбудить его кофе и некой реформой, а не вот этими вот криком, пушкой и декретом о земле, который больше напоминали некролог о собственности?

Ленин, отрывисто, как лозунг на броневице, отвечает:

— Потому что на реформу у буржуазии всегда найдётся заготовленное заранее veto. А кофе, простите меня, лишь утешение желудка, когда сердце давно проглочено эксплуатацией. Народу не нужны сны на шёлке. Ему нужен удар в гонг, чтобы вспомнить, что он сила, а не фон на картине министров.

Хреномот, философски мяукая:

— И всё же, Владимир Ильич, вы ведь понимали, что, разбудив медведя не расскажешь ему потом, как вести себя за столом. Разве вы не боялись, что революция, эта ваша героическая огневица, выйдет из-под контроля, пересядет на трон и скажет: «Спасибо, товарищ Ленин. А теперь — в угол»?

Ленин, с ледяной ясностью отвечает:

— Революция — это, если хотите, воля истории, а не желание сохранить руки чистыми. Я не боялся грязной работы, я знал, что кто ждёт удобного часа, тот навсегда останется в коридоре власти и за бортом истории. К тому же я хотел не власть, я хотел передать руль от государства рукам, что вечно толкали вагон чужой роскоши.

Хреномот, крутя хвост, как стрелку компаса:

— Так значит, всё ради идеи, которая теперь на свалке вместе с планами пятилеток, дефицитом туалетной бумаги и анекдотами о несбывшемся счастье. Позвольте спросить, а стоило ли жечь эпоху ради вождения будущего, которое оказалось черновиком?

Ленин, пристально смотря на собеседника:

— Случается, что истина иногда приходит в виде черновика. Но без чернил 1917-го не было бы даже бумаги для вашего сарказма. Разве вы не находите? Да к тому же я не рисовал рай, я ломал старые оковы и рвал путы невежества. А если рай не случился, то, возможно, потому, что все ждали, что кто-то его построит вместо них.

Хреномот, шепча, почти ласково:

— Всё равно вы романтик, просто с твёрдой походкой и с гранатой вместо букета.

Ленин, вставая, как будто собирается уходить:

— Лучше граната в руке идеи, чем пирожное в руке капитала.

Настаёт тишина, слышен гудок паровоза истории, прибывающий за Ильичом, чтобы отправить его в будущее для написания чистовика. Кот смотрит вслед и молчит впервые за весь диалог, понимая, что все только начинается.

«Мошенники, маски и метафизика шулера, или Разговор на краю картёжного стола»

К. Прутков и Н. В. Гоголь о книге «Игроки».

За грязным оконцем висел синий сумрак, как театральный занавес, в котором уже не осталось интриги, но осталась привычка прятать лица. В полутёмном гостиничном номере уездного города, где карты липнут к пальцам, а судьбы, увы, к столу, номере, давно забытом хозяевами, пропитанном духом дешёвого табака, кислого пойла и вечной комедии человеческой жадности, на столе, лежала изрядно потёртая колода карт, будто сама прошла круги ада. По углам, неровными рядами стояли чемоданы с тайнами, завязанными не верёвками, а сюжетами жизни. Свет медленно стекал из керосиновой лампы с таким видом, будто он знает всё, но никому ничего не скажет. За этим столом, среди шепота карточных фраз и хруста потерянных иллюзий, сидели двое, Козьма Прутков, гладкий, как афоризм на карманной фляжке, и Николай Васильевич Гоголь, с тенью нескрываемой грусти в глазах и запахом фантасмагории в складках своего сюртука.

Козьма Прутков, медленно приподнимая карту и глядя поверх неё, как судья на преступника, произносит:

– Милостивый Николай Васильевич, признаюсь вам с глубочайшим, уж простите меня, саркастическим уважением, но ваша пьеса «Игроки», это вовсе не пьеса, а великолепная инструкция по тому, как проиграть совесть за партой человеческой изобретательности. Скажите на милость, неужто вы всерьёз полагаете, что изображённые вами ловкачи, это отражение общества? По-моему, это скорее маленькое зеркальце с большой трещиной, в котором вместо лица проглядывается насмешливая ухмылка.

Гоголь, нервно поправляя заломанный воротник и неодобрительно смотря не на собеседника, а сквозь него, будто где-то за спиной Пруткова прячется новая сцена, отвечает:

– Дорогой Козьма, вы в чем-то правы, но к сожалению, вы как всегда искусны в умении обнажить поверхность до блеска и принять этот блеск за суть, ошиблись. Да, мои «Игроки» не о карточной забаве, а о том, как человек играет в самого себя, и как, проиграв, даже не замечает, что ставка была вовсе не деньги. И это вовсе не зеркало с трещиной, как вы изволили искрометно выразиться, а зеркало с двойным дном, где каждый, кто заглядывает, видит либо маску, либо пустоту.

Козьма Прутков, небрежно почесав висок пером, как будто собирается записать афоризм, но передумал, произносит:

– Ах, пустота! Как же вы любите её, Николай Васильевич, у вас всё, чего не коснись, обязательно уходит в пустоту, вот, например, чиновники исчезают в своих должностях, носы уходят гулять отдельно от лиц, а теперь вот и игроки не играют, а философствуют. Признайтесь, вы ведь боитесь настоящей жадности, той, что с жирными пальцами и копеечным потоотделением. Ваши мошенники, это эстеты среди шулеров, а не настоящие проходимцы, оттого-то и пьеса ваша похожа на интеллигентную аферу.

Гоголь, с тонкой улыбкой, как будто между строк своего ответа прячет своего же ревизора:

– А может быть, сударь, именно оттого она и страшна? Что её герои не швыряются грязью, а улыбаются, будто продают не карты, а надежду? Я ведь хотел показать, как легко заменить человека кем угодно, – шулером, офицером, вдовой и забыть, что у этого человека когда-то была другая жизнь. Мои игроки, это далеко не картёжники, они тени тех, кто однажды решил, что быть умнее других, значит стать лучше.

Козьма Прутков, откидываясь в кресле с видом старинного стула, которому уже не страшна реставрация:

– Прекрасно, прекрасно сказано, Николай Васильевич, прямо-таки хочется написать эту мысль на вывеске над входом в игорный дом. И всё же скажите мне откровенно, почему вы не дали хотя бы одному из них проиграть по-настоящему? Так, чтобы не рублём, а сердцем, не расчетом, а покаянием? Вы ведь как драматург, простите за прямоту, слишком вежливы к человеческому пороку.

Гоголь, наклоняясь к лампе, словно хочет задуть надоедливый свет:

– Потому что истинное проигрышное состояние, это ощущение победы в пустом зале. Я не хотел кары, я хотел осознания, а оно страшнее приговора. Пусть мой Глуховский и выиграл, но кем он стал в конце? Игроком, оставшимся один на один с картами, которые больше не нужны. Ведь нет аплодисментов, нет противников, только вечное «пусто» в руке.

Козьма Прутков, вставая и сдвигая колоду на угол стола, с видом уставшего игрока, которому всё равно на выигрыш:

– Значит, вы утверждаете, что комедия может быть диагнозом совести, а не поводом для смеха? Любопытно, очень любопытно, знаете ли вы. Но поймите, публика всегда любит проигравших, то только если они проигрывают красиво, с достоинством. А вы им всучили логику проигрыша, но не дали эффектного зрелища, вот за это вас и уважают, но с досадной тревогой.

Гоголь, вставая со стула:

– А если в этой тревоге проявляется настоящее понимание, тогда, согласитесь, спектакль удался на славу. И тогда, быть может, следующий игрок, раздавая карты, задумается, что в его руке далеко не только карты, но и судьба человека.

Лампа несколько раз моргнула, как будто усмехнулась над услышанным. Прутков вытащил записную книжку, а Гоголь – платок. Оба исчезли в коридоре гостиницы, оставив на столе валет, даму и пустую чашку. Никто не заплатил, но разговор того стоил.

«Капитал и совесть: кот в кредит не верит»

Санкт-Петербург окутан туманом. Не тот, что с Невы, а тот, что стекает с крыш, как тягучая тень общественного сомнения. У старого моста, где гранитный парапет помнит все шаги ночных раскаяний, в полусгнившей лавке, покрытой инеем одиночества, сидят двое: один – с лицом, где отражён внутренний суд, другой – с усами, где хранится вся библиотека цинизма. Пахнет медленно тухнущим временем, газетами без даты и грошами, которыми никто не расплатится.

Кот, важно обхаживая уголок скамьи, вытягивая лапу как юридический довод:

– Позвольте, достопочтенный Родион Романович, я ведь к вам не с доносом и не с моральной лопатой, а с предложением вполне... инвестиционного характера. Ну вот скажите: если уж Алёна Ивановна – символ ростовщической стабильности, а вы – ходячий инсайт в людскую нищету, почему же не объединить усилия? Открыли бы вы с ней маленький, уютный банковский трест, где каждый нуждающийся мог бы получить не только рубли под разумный процент, но и, скажем, вечернюю беседу о нравственности. Я вас вижу даже в должности главного по «экзистенциальной работе с клиентами».

Раскольников, сдавленно усмехаясь, как будто услышал приговор в шутке:

– Ах, остроумнейший Хреномот, вы, как всегда, виртуоз в подмене понятий. Что вы предлагаете? Облагородить систему, построенную на человеческой нужде? Узаконить отчаяние и поставить ему кассу? Нет, сударь. Я не ради бизнеса топор взял в руки. Я взял его потому, что нищета перестала быть пороком – её превратили в актив.

Кот, прищурившись, словно уже напечатал рекламный проспект банка:

– Но ведь, Родион, признайтесь, если бы вы обставили дело грамотно: лицензия, надёжный кассир, табличка «добро пожаловать», – глядишь, и никто бы не пострадал. И вы бы чув-

ствовали себя не убийцей, а, простите за термин, первым этичным микрофинансистом в истории русской литературы. Да и Соне, между прочим, легче было бы отмывать душу, если бы в залог отдавали не совесть, а подержанный самовар.

Раскольников, подняв глаза, в которых не было ни иронии, ни сожаления:

– Вы предлагаете мне подменить борьбу соглашением? Переступить через суть, чтобы облагородить форму? Нет, милый Кот. Нельзя торговать воздухом, если знаешь, что в лёгких уже ничего не осталось. Ростовщичество – это не профессия. Это культурная плесень, питающаяся болью. И даже если обвешать её шариками и банковскими реквизитами, она всё равно останется тем, что разрушает изнутри.

Кот, мурлыча чуть тише, но всё ещё держа хвост вертикально, как банковскую колонну:

– Ну что ж, гуманизм, конечно, звучит красиво. Но вы ведь понимаете, что общество на одной любви к бедным не построишь. Надо же как-то крутиться. Вот Толстому вы, наверняка, понравились бы, а вот Тургенев с его чувствительными помещиками – так и вовсе затопал бы ножкой, услышав про вашу топором обострённую мораль. А что, если бы вы организовали систему... для помощи? Только не рублём, а идеей. Банком совести, если угодно. С ограниченным капиталом, но неограниченным доверием?

Раскольников, тихо, но с ледяной решимостью:

– Нет, милый философ с шерстью. Совесть не ставится в бухгалтерский реестр. И доверие не выдают под залог. Я убил не женщину, я убил допущение. И пусть меня осудит весь Петербург, но я не позволю, чтобы нужда становилась товаром.

Кот, после долгой паузы, вдруг мягко, почти шёпотом:

– Признаюсь, Родион Романович, я вас только проверял. Проверял вашу честность идей, прочность внутренней конструкции. И, знаете, вы не треснули. И хотя я всё ещё считаю, что бюрократический ад ближе к ростовщичеству, чем вы к спасению, всё же вы правы: нельзя наживаться на слабости. Даже если это приносит дивиденды.

Молчание. Ветер переворачивает обрывок старой газеты.

Сквозь прорезь неба медленно идёт снег, а в нём – тишина.

И, может быть, впервые за весь разговор, оба понимают друг друга.

Без ссуды.

Без процентов.

Просто – по-человечески.

«О Карамазовых, Карениной и курьёзах канонической глубины»

Диалог Кота и Льва Толстого

Ветреное утро мягко укладывало солнечные полосы на пол деревянной веранды в Ясной Поляне. Сквозь листву лип пробивались лучи, от которых чай в пузатом самоваре отливал янтарём. Воздух был напоён свежестью сентябрьской тишины и лёгким паром мыслей, готовых выплеснуться в разговор. Лев Николаевич сидел в плетёном кресле, положив руку на томик Гёте. А у его ног, на шали, расстеленной как поле для сражений духа и вкуса, устроился Кот – известный во всех литературных кругах под прозвищем Хреномот, с видом важным и лукавым.

Кот (лениво вытянув задние лапы):

О, достопочтенный Лев Николаевич, позвольте высказать мысль столь дерзкую, что она сама уже краснеет в моих усах. Представим, что вы, именно вы, а не наш густобровый Фёдор Михайлович, решили бы написать Братьев Карамазовых. Ах, какой бы это был роман! Без изнурительных философских копаний, но зато с блистательными балами, трагическими поездками в Москву и непременно – любовным письмом, уроненным в сугроб. Согласитесь, Иван Карамазов в вашей прозе непременно ездил бы в Лондон покупать печатный станок, а Алёша – разводил бы овёс в имении.

Толстой (медленно, как пашет лошадь, что знает своё дело):

Милостивый мой Кот, в ваших словах есть жемчуг остроумия, но и зерно несообразности. Ибо Карамазовы, как и я, стремились ко внутреннему миру, но шли иными путями. Я писал бы их так, как пишу я – через землю, через труд, через поступок. Не в грехе их дело, а в неспособности построить мост между тем, что они знают, и тем, как они живут. Но, конечно, у меня не было бы сыра из ада и прокурора с риторикой старозаветной молнии. Был бы хлеб, борщ, ссора на почве дележа наследства – и, быть может, драка на сеновале, но уж точно не метафизическое удушье.

Кот (подмигнув шляпе на вешалке):

Ах, но позвольте, благороднейший Лев, ведь ваша Анна Каренина куда изящнее Фёдора Павловича – она хотя бы бросалась под поезд из эстетики, а не из алкоголя! Представьте: Анна и Дмитрий Карамазов! Я уже вижу: он – в мундире, она – в кружевном отчаянии, и всё это под музыку Чайковского, в финале – дуэль с духовником. А вместо суда – заседание светского клуба. Фёдор Михайлович просто не имел вкуса к деталям приличной гибели.

Толстой (улыбнувшись в бороду):

Милейший, вы, как истинный эстет, ищете симфонию в каждом вздохе. Но помните: человек – не фортепиано, он не звучит по нотам. В романе моём Карамазовы были бы не братьями, а крестьянами, и спор их был бы не о Боге, а о цене на сено. Но в этом – правда. Ваша Анна, брошенная в Париже, действительно могла бы остаться жива. А вот мои герои – не могут. Потому что живут не в сюжете, а в мире, где боль – не драматургия, а след от лопаты.

Кот (задумчиво почёсывая ухо):

Браво. Но скажите, отец яснополянской земли, ведь вы же понимаете, что в конце концов, народ ваш всё равно читает не ради муки, а ради света в конце борща. А у Достоевского свет – это страдание в дупле. Не слишком ли вы доверяете тому, что народ поймёт без нарратива?

Толстой:

Я верю, что народ чувствует. Не понимает – чувствует. Как лошадь чувствует поле, как солдат – правду. И потому я пишу не кратко, но верно. Я не выговариваю истину – я её пахаю.

Кот (вскакивая на перила):

Прекрасно сказано, Лев Николаевич. Осталось только разбить том на главы: «Война и борщ» – для занятых, и «Мир и мистицизм» – для бездельников. А пока что – я умываюсь. Признак того, что разговор был стоящий.

Толстой (наклоняясь к самовару):

Мой Кот, в этом вы истинно русская душа – всегда под конец выдаёте суть в жесте. Но чай остывает. А нам, быть может, пора за новый роман – вдвоём.

Кот (фыркнув):

С меня – метафора, с вас – мораль. Договорились.

«О ковиде, рефлексах и страхе»

Диалог И.П. Павлова и Хреномота

Хреномот (втягивая дым из трубки с надписью «паника»):

– Иван Петрович, вы ведь о человеке знаете всё, что можно проверить в лаборатории.

Скажите мне честно: почему же при COVID-19 они сначала скупали туалетную бумагу, а не антисептики?

Павлов (поправляя жилет и ус):

– Потому что первое – отражение безусловного рефлекса тревоги, а второе – результат медленной рационализации.

Иными словами, кишечник реагирует раньше мозга. Так устроено.

Хреномот:

– Значит, человечество – это просто комплекс рефлексов?

Пугнули – побежали. Сказали "маска" – надели. Сказали "вакцина" – разделились.

И всё это – биология?

Павлов:

– Биология объясняет многое, но не всё.

У человека есть ещё ценностная надстройка, но она, к сожалению, активируется позже, чем нейроэндокринный шок.

Поэтому сначала – бегство, потом – мысль. А потом, если повезёт, – совесть.

Хреномот (иронично):

– А вы не хотите внести COVID-19 в список стимулов, создающих условный рефлекс тревоги?

Называть его, скажем, «Синдром глобальной неопределённости»?

Павлов:

– Я бы предпочёл формулировку «эпизод острого биоповеденческого срыва».

Но вы, как всегда, ближе к психологии, чем к физиологии.

Хреномот:

– А скажите, вот вы ставили опыты на собаках. А сейчас посмотрите: люди сами на себе проводят эксперименты.

Каждый – и морда, и рефлекс, и стимул.

Павлов:

– Люди никогда не были выше природы. Они – часть эксперимента.

Просто в их случае пробирка называется общественное сознание, а раствор – страх с добавкой информационного шума.

Хреномот (наклоняясь вперёд):

– И как вы оцениваете человечество в пандемию?

Сдали зачёт?

Павлов (сухо):

– Диагноз: устойчивость к здравому смыслу снижена.

Но есть признаки пластичности: адаптировались к изоляции, научились печь хлеб и... ругать друг друга в комментариях.

Организм выжил, но центральная нервная система требует профилактики.

Хреномот:

– А что с моралью? Там хоть какие-нибудь синапсы сработали?

Павлов:

– Сложный вопрос.

Мораль в условиях страха ведёт себя, как кошка в тесной коробке: или царапает, или притворяется мёртвой.

Но я видел случаи, когда она мурлыкала. Это вселяло надежду.

Хреномот:

– А вам не кажется, что COVID-19 – это своего рода inferнальный экзамен?

Не на иммунитет, а на человечность?

Павлов:

– Возможно.

И как любой экзамен, он показал: у одних шпаргалка, у других совесть, у третьих – паника.

Но кое-кто сдал – честно, в одиночестве, без аплодисментов. Я бы им поставил «отлично».

Хреномот (с неожиданной серьёзностью):

– Если бы вы могли оставить человечеству одну фразу после этой пандемии, что бы это было?

Павлов:

– Бойтесь не вируса, а потери способности размышлять после него.

Потому что рефлексy спасают тело, а думать — спасает человека.

Пауза. В лаборатории тишина. Хреномот гасит трубку. Павлов делает пометку в блокноте.

В воздухе — не вирус. Мысль. Живая. Осторожная. Осмысленная.

«О зависти и искусстве яда»

Диалог Хреномота и Данте о зависти.

Тусклый зал, где ты видишь чужую радость, как витрину за толстым стеклом, и чувствуешь, как твоя жизнь меркнет рядом с чужой. Здесь нет боли — только одно непрерывное сравнение, в котором ты всегда остаёшься вторым. Даже воздух и тот чужой.

Хреномот, неторопливо перебирая когтями следы чьей-то карьеры:

— Данте, скажите мне, как живописец горькой морали: разве зависть — это не просто естественная реакция организма на чьё-то чересчур удачное лицо? Ведь, согласитесь, сложно не позеленеть, если ты неустанно грызёшь постную правду, а кто-то в это время лакомится жареным успехом с золотым соусом.

Данте, медленно поднимая пронзительный взгляд, как будто смотрит сквозь века, отвечает:

— Зависть, дорогой мой язвительный друг, не реакция, а тонкий яд, варящийся в сердце, которое не знает ни благодарности, ни меры. Она не стремится получить всё сполна, она стремится отнять последнее — и всё равно оставляет вас в несчастной бедности души. Она не говорит вам: «Хочу быть, как он», — она неумолимо шепчет: «Пусть он станет ничем, а я — всем».

Хреномот, скептически глядя на тонкий луч, падающий на статую грешника:

— Ну да, ну да. Но ведь в зависти есть изысканный элемент эстетики: я люблюсь чужим и одновременно ненавижу. Это почти недостижимое, элитарное искусство! Тонкая, утончённая попытка себя же, но в дорогой рамке. Разве это не достойно восхищения... хотя бы иногда?

Данте, печально улыбаясь:

— О, если бы зависть хоть на мгновение была изысканной, она бы спасала, а не разрушала. Но она, увы, мелочная, как пыль на красивом костюме, как пятно на скатерти в дни торжества, как надоевшая сплетня, шепчущая под музыку неудовлетворенности. И худшее в ней то, что она делает боль другого праздником для завидующего.

Хреномот, щурясь:

— А я искренне считал, что зависть — двигатель прогресса. Ведь, согласитесь, если сосед построил себе мост через реку, то ты строишь себе три, лишь бы нос был выше. Разве это не повод для архитектурного ренессанса?

Данте, медленно, как если бы отвечал не коту, а человечеству:

— Прогресс, построенный на зависти, возводит башни без дверей. Они невероятно высоки, но пусты. И человек, достигший вершины в злобном состязании, находит на вершине не ветер славы, а эхо чужого смеха, раздающегося снизу.

Хреномот, потягиваясь:

— Всё так печально у вас, даже мрачно местами. А ведь, если подумать, зависть — это просто способ признать чужую ценность, но только с одной оговоркой: «Почему не я?» Эдакая форма честного признания, немного приправленного желчью.

Данте, устало, как будто видел это уже в миллионах душ:

— Признание, исполненное горечи, не исцеляет; оно лишь отравляет сосуд, в который должно было быть налито до самого верха уважение. И в таком случае завистник — тот, кто каждый день пьёт свою злобу полной чашей, надеясь, что от этого заболеет другой.

Повисает пауза, в галерее становится тише. Непонятная тень на полу размеренно движется к чужому свету. Хреномот пристально смотрит ей вслед и, потеряв интерес, широко зеваает. Потому что даже зависть, как и всё в этом мире, со временем изрядно надоедает. А Данте остаётся: впереди ещё много грехов.

«Пролетарий с биографией Жан Вальжан»

Диалог кота и Ленина.

В затенённом кабинете где-то между Смольным и страницей из французского романа, пахнущем полированной мебелью, кипятком и нераспечатанными до конца манифестами, на столе стоит старинная лампа, под которой пылятся одновременно «Капитал» в переводе и томик Гюго в оригинале. Сквозь полуприкрытое окно в комнату медленно просачивается утренний свет, тусклый, как настроение после утопии. Воздух пропитан запахом лака, чернил и революционного упрямства. За письменным столом сидит Владимир Ильич Ленин, углублённый в записку о народных массах. На подлокотнике кресла, растянувшись с ленивым достоинством, как избранный символ эпохи, лежит Хреномот, хвост которого неторопливо мотается, будто маятник, не согласный с марксизмом.

— О, дорогой конструктор будущего с дефицитом улыбок, — начал Хреномот, потягиваясь с лёгким хрустом костей и сарказма, — разрешите поинтересоваться, если бы такой субъект, как Жан Вальжан, пришёл к вам с просьбой устроиться в ЦК, — как бы вы поступили? Приняли бы его, этого перерожденного беглого каторжника с социальным чутьём и тайной любовью к свечному бизнесу, или, всё же, сослали в комитет по моральному сомнению?

— Уважаемый товарищ с усами, — отозвался Ленин, наклоняясь над бумагами, как над судьбами людей, — Жан Вальжан, несмотря на своё буржуазное происхождение и сентиментальный пафос, безусловно представляет интерес как тип трудящегося, познавшего несправедливость на своей шкуре. В условиях диалектики классовой борьбы он может быть переориентирован в сторону полезного, если, конечно, осознает вред индивидуалистической морали и соборного милосердия.

— Ах, как звучит! — фыркнул Хреномот, выгнув спину и глядя в потолок, — а, по-моему, вы бы ещё до его автобиографии сделали ему партийный допрос длиною в три тома, где требовалось бы объяснить: зачем он украл хлеб и почему не сдался сразу? Вам ведь, в отличие от милостивого епископа, не нужен человек, кающийся у свечки, вам нужен отчётливый голос, способный цитировать Маркса вслух даже во сне.

— Вы преувеличиваете, — отрезал Ленин, — никто не отрицает значимости личной драмы, но в нашем деле важна не исповедь, а поступки. Вальжан мог бы возглавить отдел по реабилитации социально нестабильных элементов, передав свой опыт борьбы с внутренним «я» массам. Мы бы убрали его французский романтизм и дали ему чёткий план пятилетки.

— Ах, милейший Владимир Ильич, — рассмеялся Хреномот, — но ведь именно романтизм, пусть и с лёгкой нотой наивности, сделал из Вальжана морального титана, а не инструктора по лозунгу! Вы бы ведь его заставили отказаться от своей Лизы, отправили бы Жавера в отдел кадров, а саму фабрику — непременно национализировали. А дальше, нулевая поэзия и пятилетний план по производству идеологии.

— Позвольте, — строго произнёс Ленин, — вы забываете, что любая поэзия без хлеба — это благо для господ, а не для народа. Мы, наоборот, стремимся вернуть человеку его значение как созидателя, а не слезоточивого персонажа. Пусть Вальжан пострадает за труд, а не за моральные сомнения.

— И всё же, — протянул Хреномот, махая хвостом, — у Достоевского в «Преступлении и наказании» тоже был герой, который пытался оправдать убийство. И что мы видим? Он рухнул. Но не потому, что его арестовали, а потому, что совесть у него не умела работать по расписанию. Скажите, неужели у вас в аппарате нет места для души, которой плохо не из-за устава, а просто... потому что ей плохо?

— Душа у нас — в коллективе, — твёрдо ответил Ленин. — И страдание личное должно быть переплавлено в несокрушимую силу для общей цели. Если Вальжан поймёт, что его опыт — это знание, а не баллада, вот тогда мы с ним найдём общий язык, и не под светом свечи, а под светом лампы Ильича!

— Великолепно! — заключил Хреномот. — Выходит, вы бы сделали из Жана Вальжана партийного святого без права на молитву, зато с доступом к архиву. Что ж, пусть так. Только вот мне кажется, что революция без капли сострадания — это просто реорганизация зла в новом офисе.

Ленин сделал пометку на полях. Кот зевнул, а где-то вдалеке, в несуществующем ЦК, Жан Вальжан всё ещё стоял в коридоре: в руках у него было досье, в глазах — свеча, а в душе — вопрос, на который не было ответа.

«Между нигилистом и подсвечником, или О разрывах, которые не застают»

День неизбежно клонится к вечеру, и свет ложится на аллеи косо, будто сомневаясь, стоит ли идти дальше. В саду, где некогда гуляли тени дворянства, теперь слышны только шаги времени, тихо бредущего по сухим листьям. Крыльцо покрыто тонкой паутиной, не от запустения, а от задумчивости. Скамья под старыми липами хранит на себе тяжесть споров, что были, и ожидает тех, что ещё не состоялись. На одной её стороне устроился Иван Сергеевич Тургенев, с книгой в руках и выражением мягкой усталости, какой бывают на лицах тех, кто долго наблюдал за душой человека. На другой, растянувшись в позе вопрошающего сфинкса, лежит Хреномот, блестящий, насмешливый, как и положено зверю, читающему классику по диагонали, но мыслящему по вертикали.

— Иван Сергеевич, — начал Хреномот, подгибая лапу с тем изяществом, с каким в Англии подают чай, — скажите, пожалуйста, только откровенно, это вы всерьёз считали, что конфликт между отцами и детьми заключается в том, что одни любят «Шиллера», а другие — жечь бактериологию на костре веры? Я понимаю, эпоха, мундиры, реформы, но у вас же Базаров больше похож на рассерженного аптекаря с идеологическим зудом, чем на революционера духа.

— Милейший, — медленно произнёс Тургенев, склонив голову, как будто разговаривает с давно знакомым духом из рощи, — я вовсе не ставил перед собой цель нарисовать икону прогресса или карикатуру на истрепанную старину. Мой Базаров — это, если хотите, нерв эпохи, раздёрнутый, пульсирующий, ещё не знающий, будет ли он лечить или разрушать. И если он местами невыносим, то, поверьте, это не ошибка меня как автора, а горькая правда жизни. Такие люди неудобны, но необходимы.

— Неудобны? — переспросил Хреномот, распушив хвост с выражением оскорблённого эстетства. — Он же весь как скомканная газета после проливного дождя. Всё отрицает, кроме себя, если лечит, то с презрением, а живёт уж точно с отвращением, ну а если и любит, то тотчас же и умирает, как будто природа не выдержала его эмоционального минимализма. Вы бы ему хотя бы юмора подлили! А то нигилист без самоиронии, знаете ли, это как пирог без теста, начинка вроде есть, а есть невозможно.

— Ах, сударь, — возразил Тургенев, мягко улыбнувшись, — вы забываете, что хороший юмор — это роскошь тех, кто уже вырос из трагедии, но ещё не созрел до мудрости. Базаров ведь не насмешник, он, если хотите рана, которую общество ещё не решилось перевязать. И поэтому он не может быть лёгким, ведь он переживает за всех и стоит против всех одновременно. Его конфликт, увы, не только с отцами, но и к несчастью с самим собой. Он, как вы выразились, аптекарь, но с душой хирурга, режущего без наркоза.

— А всё же, — не унимался Хреномот, — почему же вы дали ему умереть так... литературно? Вон, у Достоевского все либо каются в канаве, либо кричат на лестнице, а у вас, тишина, нафталин и любовная простыня. Прямо как будто сам нигилизм вас испугал, и вы решили его... так сказать, прикончить сюжетом.

— Напротив, — спокойно сказал Тургенев, взглянув на клёны, будто и они участвовали в диалоге, — я не хотел ни убить идею, ни спасти её. Я показал, что даже самая несокрушимая философия может споткнуться о человеческое сердце. Базаров умирает не от холеры, а от неумения быть живым среди живых. Его смерть — это не отказ, наоборот, это вопрос — быть или не быть человеку, если он разучился чувствовать.

– А-а-а, вот оно как, – хмыкнул Хреномот, выпрямляясь. – Значит, «отцы и дети» – это не спор о политике и вкусах, а революция в форме семейного обеда? Тогда вы не роман написали, а трапезу с отравленной ложкой.

– Возможно, вполне возможно, – согласился Тургенев, тяжело вздыхая, – но ведь именно за этим столом и рождаются новые смыслы. Конфликт поколений, ведь это не только различие убеждений, это разное отношение к миру, в котором человек учится жить.

– Ах, Иван Сергеевич, – сказал Хреномот, потягиваясь и глядя в небо, – всё у вас так благородно, тонко, мучительно. Читаешь и как будто живёшь в филармонии, где даже страсти обязаны звучать в тональности ре мажор. Неужели в вас не просыпался Базаров, когда вы сдавали рукопись в цензуру?

– Просыпался, – признался Тургенев с мягкой грустью, – но я его вновь укладывал спать, чтобы утро досталось кому-то другому.

Сад погружается в вечернюю задумчивость, а на скамейке остались только книга, след от когтя и неразрешённый спор. Но где-то в воздухе, между липами всё ещё слышен голос: «Нигилизм — это, скорее всего не отказ, а признак того, что взгляды на жизнь требуют пересмотра.»

«На операционном столе прогресса»

Кот и Профессор Преображенский говорят о судьбе человеческой породы.

В кабинете известного профессора в переулке, где медицина граничит с метафизикой, лампа с зелёным абажуром отбрасывает тусклый свет на толстые стёкла очков и поблёскивающий скальпель, которому сегодня, к счастью, не пришлось принимать решений. На стенах развешены анатомические таблицы и портреты известных светил медицины, на которых доктора глядят так, будто всё ещё не уверены, стоит ли лечить человеческую душу при помощи блестящих инструментов. За окном навалены сугробы, аккуратные, как асептические бинты, и гудит улица, где шум не доходит до истины. На диване, уютно устроившись, будто вот-вот начнёт дремать, свернулся Хреномот, шевеля усами в ритме саркастического предвкушения, а за массивным столом из векового дуба, слегка подперев висок натруженной ладонью, сидит Профессор Преображенский, усталый не столько от науки, сколько от того, как ею пользуются.

– О, многоуважаемый профессор хирургии и гуманного отчаяния, – начал Хреномот, мерно постукивая хвостом по подлокотнику, – скажите мне, не как коту, а как существу, читающему советские газеты, к чему мы все катимся в этом новеньком балагане под вывеской «трансгуманизм»? Ведь это не что иное, как коллективная попытка сделать из человека Шарикова с айфоном, но в костюме от нейробиологов!

– Дорогой мой Хреномот, – ответил Преображенский, медленно снимая очки и протирая их мятой тканью, которой, возможно, ещё вытирали лоб какому-то историку медицины, – дело в том, что наука не виновата в амбициях своих представителей. Я, как хирург и как философ, утверждаю, что не всякая пересадка органа даёт в результате человеческое сердце живому существу. И если люди начали массово менять себя, надуваю губы, наращивают пышности, да и за мозги некоторые уже взялись, это вовсе не означает, что они поняли, кем хотят быть. Это просто... паника, уважаемый мой, паника, возведённая в норму.

– Прекрасный пассаж, – фыркнул Хреномот, – прямо как в рассказах Чехова, где бедный доктор мучается не от болезни пациента, а от его глупости. Только вот раньше операционный стол был местом последней надежды, а теперь стал прилавком технической амнезии: новые кости, новые сетчатки, и всё это в надежде забыть, кто ты такой и для чего ты здесь рожден.

– Да, – задумчиво отозвался профессор, – беда даже не в технологиях, а в мотивации их применения. И вы безусловно правы, сейчас на стол ложатся не чтобы исцелиться, а чтобы уйти от зеркала. В этом и глубочайший парадокс – вместо роста – модификация, вместо смысла – апгрейд. А душу, знаете ли, не прошьёшь заново, как системный блок.

– О выдающийся махинатор органики, – с явным изяществом промолвил Хреномот, – Вы же сами однажды дали собачьей природе человеческие слова и получили политическую дискуссию на тему «отдай жильё». Что ж тогда ожидать от нынешних борцов за вечную жизнь? Они ведь не читают Чехова – они скачивают его и оставляют на потом.

– Вы иногда бываете жестоки к людям, мой проницательный собеседник, – покачал головой Преображенский. – И всё же справедливы, у вас этого не отнять. Дело в том, что, когда человек забывает, что он, это не только «как он думает», но и «почему он страдает», тогда всё превращается в шутовство над собственным происхождением. Но, позвольте, разве можно сделать лучшее, не умея жить хотя бы удовлетворительно?

– Профессор, светило медицинского скепсиса, позвольте, – насмешливо протянул Хреномот, – да они ведь и страдать теперь хотят исключительно с комфортом: инъекции от печали, чипы от совести, и, разумеется, новая кожа с функцией уведомлений. Им не нужно страдание как сосредоточение опыта, им подавай боль как опцию в меню.

– Но ведь, – заговорил Преображенский медленно, будто делал надрез по воздуху, – если человек уходит от боли, от переживаний, он уходит и от осмысленного выбора. Возможно, что трансгуманизм хорош, только когда он спасает, но он опасен, когда искушает забыть, зачем мы становились людьми. Согласитесь, что душа — это не приложение, а та самая часть, которую нельзя ни пересадить, ни закодировать, её можно только взрастить.

– А значит, – подытожил Хреномот, спрыгивая на пол с видом врача, закончившего консультацию, – весь ваш трансгуманизм – не революция, а электронная анафема на чувство меры? Тогда, простите, профессор, но у меня к вам финальный вопрос, кого первым перепишут – тело или совесть?

– К сожалению совесть, – ответил Преображенский тихо. – Потому что она самая неудобная часть человека, а значит, первая на очереди.

Часы в кабинете пробили время, которое давно никто не называет. Профессор зажёл лампу, а Хреномот подошёл к батарее. Снаружи бушевала новая эпоха, но в кабинете всё ещё пахло хлоркой, книгами и последним настоящим спором о душе человека.

«О смехе без глубины»

Диалог Ф.М. Достоевского и кота о «Кружке гогота».

Хреномот (принюхиваясь к запаху сарказма):

– Фёдор Михайлович, скажите честно, вот если бы вы сейчас жили, вы бы пошли в «Кружок гогота»? Ну так... развеяться. А то у вас всё: топоры, вино, подземные люди...

Достоевский (сдержанно передёргивая плечами):

– Я, признаться честно, смотрел пару выпусков одним глазком. Был там человек, который искренне смеялся, не окончив надлежаще фразу. И у меня сложилось мнение, что это смех без повода, а фраза без смысла. По моему глубокому мнению, тишина в паузах была более выразительной, чем весь его монолог.

Хреномот (усмехаясь в усы):

– Ах, ну конечно. У вас же смех — это трагедия, а грех — расплата. А у них всё просто и весело. Может, вы им просто завидуете, а? Признайтесь.

Достоевский:

– Я не завидую, я боюсь. Смех, лишённый искренней и настоящей причины, прочувствованной умом, — это уже не смех, а нервный тик общества, которое не хочет, а может быть, уже и не способно смотреть внутрь себя. Это не освобождение, а бегство в балаган.

Хреномот:

– Да бросьте. Разве плохо, что люди смеются? Животы надрывают. Не над вами же. Да, кстати, вы у них в списке литературы. Почётным товарищем числитесь. И знаете, мне кажется, они просто хотят отдохнуть от... ну, от вас, если честно.

Достоевский (взвешенно):

— Но если отдых заключается в истреблении мысли и смысла, то кто потом будет их искать? Вы называете это представление юмором, а я слышу в нём усталость, обёрнутую в громкость фраз и нескончаемую пошлость. Они смеются не потому, что смешно, а потому что иначе придётся молчать, ведь сказать будет им нечего.

Хреномот (вздыхает с театральной жалостью):

— Ну всё, началось... «совесть, страдание, человек в снегу». А если без надрывной драмы? Просто – шоу, вечер пятницы, человек устал. Ему подают шутку. Он улыбается. Где тут грех?

Достоевский:

— Нет греха. Есть пустота души, спрятанная под личину веселья. Ведь раньше человек смеялся над собой и становился глубже, лучше и чувственнее. Теперь же он смеётся над всем подряд, и ему вроде становится легче. Но лёгкость, как ты сам знаешь, не всегда означает свободу. Зачастую это падение на дно.

Хреномот:

— Прекрасно сказано. Запишу. Только знаете, Фёдор Михайлович, людям не хочется всё время страдать, мучиться, каяться. Они уже научились хохотать над смертью, бедностью, политикой — и в этом, между прочим, тоже своего рода мужество.

Достоевский (грустно, почти шепотом):

— Смех без любви — далеко не мужество. Это шум, в котором прячется отголосок отчаяния. Когда шутка остаётся единственным языком, значит, боль уже разучилась говорить человеку о важном.

Хреномот (подмигивая):

— Ну хорошо. А если бы вам предложили прийти туда. Представьте, ведущий, сцена, публика, свет. И вы такой выходите в своем сером пиджаке и рассказываете, ну, например, про Ставрогина. Что бы вы сказали?

Достоевский:

— Я бы встал. Посмотрел в зал. И сказал только одно: «Я верю, что вы можете смеяться иначе. Нет, не громче, не острее, а глубже, именно глубже». И, быть может, после моих слов кто-то бы не засмеялся над шутками комиков. Он бы понял, задумался и запомнил.

Хреномот (молчит, глядя в сторону):

— Знаете, вы ужасно неудобный человек. Как сейчас говорит молодежь – душный.

Достоевский (спокойно):

— Я не для удобства и свежести, я для того, чтобы на миг остановиться и подумать о важном, ценном и главном. Даже если это придётся делать с отвращением.

Пауза. Хреномот кладёт пачку входных билетов на стол. Достоевский отодвигает её от себя. Где-то звучит очередная шутка, но она уже не кажется такой громкой и задорной.

«Мёртвые машины и живые совести»

Время: поздний вечер, ламповый свет.

Место: старый гараж на окраине. На стенах – карты дорог, рядом стоит «Волга» без капота и портфель, набитый бумагами.

Чичиков – в пальто и лакированных сапожках. Деточкин – в потёртом пиджаке, с гаечным ключом в руке.

Чичиков (внимательно, обводя взглядом помещение):

— Дорогой мой Юрий Иванович, послушайте-ка меня: автомобили – это вам не мёртвые души, конечно, но сущность похожа. Купил машину, у которой нет прошлого, подлатал, продал. Красиво, законно, духовно даже – ведь вы же людям помогаете.

Деточкин (со вздохом, вытирая руки о ветошь):

— Помогать нужно не за счёт выгоды, Павел Иванович. Я ведь свои машины продавал, чтобы детям – в детдом. А вы, как я понимаю, хотите, чтобы в каждой машине дышал процент?

Чичиков (улыбаясь с лоском чиновничьей логики):

– Ах, милейший, ну отчего ж не совместить? Вы – мораль, я – форма. Я оформлю фирму: "Чистый металл, прозрачная совесть", вы – лицо честное, бывший страховой агент, бывший... ну, почти герой. Векселя, доверенности, комиссионное соглашение – и всё по закону!

Деточкин (морщит лоб):

– У вас всё по закону, но душа ведь не в документах. Вот скажите – если человек купил машину, думая, что она новая, а она с прошлого света – это же как будто ему обещали жизнь, а дали... ну, мёртвую душу.

Чичиков (вскидываясь с деловым азартом):

– Позвольте, позвольте! Душа-то у машины будет, и ещё какая! Мы оформим её в новом паспорте транспортного средства. А прежний владелец – ну что с него взять? Разве он лучше машины? А ведь ездил!

Деточкин (печально):

– Вы очень ловко говорите, Павел Иванович. Вы, наверное, и на исповеди могли бы договориться.

Чичиков (с лёгким поклоном):

– Признаюсь, мне приходилось беседовать с разными архиереями... но дело ведь в том, Юрий Иванович, что народу нужен транспорт. Не правда ли? А мы дадим им... возрождённые средства передвижения.

Деточкин (глядя на «Жигули» в углу):

– Это если бы они действительно воскресали, эти машины. А то ведь у многих – биография страшнее уголовного. У этой, вон, был хозяин – аферист из Пятигорска, она же глушила, как будто совесть ему при жизни давила.

Чичиков (хохочет):

– Так мы и совесть починим, вместе с глушителем!

Деточкин (медленно):

– Только вот вы не подумали... я ведь могу и передумать. Не в продаже дело. Иногда надо машину просто отдать. Или даже – не брать.

Чичиков (прищуриваясь):

– М-да... вы человек сложный, Юрий Иванович. Вам бы в поэзию, а не в бизнес. Но знаете что – я ведь тоже не совсем бесчестный. Если хотите, половину прибыли – в фонд сирот. Пусть и мёртвые машины служат живым людям.

Деточкин (глядя в окно, где тает снег):

– Если уж мёртвое можно обратить во благо... тогда, быть может, и с вами получится.

Чичиков (потирая руки):

– Ну вот и славно. А теперь давайте подумаем, как из «Москвича» сделать «мерседес». Бумажно, конечно.

Вдалеке зазвучал радио-транзистор с голосом диктора: «Госавтоинспекция напоминает: доверяй, но проверяй...» Чичиков и Деточкин переглянулись, каждый усмехнулся по-своему. Один – коммерчески, другой – по-доброму.

«Между топором и евангелием: о долге, свободе и литературных траекториях»

В старой библиотеке, где под потолком висит пыль из веков, где корешки книг похожи на старые эполетные ряды, а окна отбрасывают мягкий свет, похожий на рассвет в романе. Тут пахнет чернилами, мужеством и тонкой грустью – здесь встретились два духа, знакомые с печатью литературной вечности: граф Дюма, весь в осанке гасконской уверенности, и Кот, по прозвищу Хреномот, философ с лапами, но без лишней сентиментальности.

Кот, обводя хвостом витиеватую фразу, словно очерчивая мысль:

– О, блистательнейший Александр, меч страниц и мэтр интриги! Позвольте мне, как уважающему читателю с когтями и рефлексией, задать вопрос: что, по-вашему, сделал бы наш многострадальный Раскольников, окажись он на месте Жана Вальжана? Я имею в виду не рито-

рически, а по-настоящему. Ведь одно дело – каяться со свечкой в руке, и совсем другое – вылетать из квартиры через крышу с топором наперевес и декларацией о правах человека в кармане.

Дюма, с мягкой улыбкой, положив руку на томик «Графа Монте-Кристо»:

– Ах, достопочтенный Кот, столь изысканно язвящий, позвольте мне вас уверить: человек, прошедший через внутреннюю пустоту, как прошёл её Родион, способен на преображение не меньше, чем Вальжан. Но у каждого народа – своя икона греха. Вальжан крадёт хлеб – и начинается путь страдания. Раскольников – крадёт право судить, и получает путь одиночества. Но разве они не встречаются в финале – в жертве, в женщине, в прощении?

Кот, стряхивая воображаемую пыль с уса, как доказательство сомнения:

– Сударь, как же лукаво и благородно вы прячете топор в метафору. Но давайте откровенно: Жан Вальжан – человек, кующий железо, а Родион – человек, кующий парадоксы. У первого есть путь, у второго – спираль. И вот, скажите: когда Раскольников увидел бы Маленькую Козетту, он что бы сделал? Преподавал ей лекцию по экономике нравственного падения или предложил инвестиции в мораль через ссудный процент?

Дюма, словно приподнявшись на волне внутреннего пафоса:

– Ах, если бы! Он, быть может, прошёл бы мимо... вначале. Но потом – в момент истины – он бы вернулся. Пусть даже не в епископский дом с подсвечниками, но в камеру собственной совести, как он и сделал. Молча, гордо, и, да, возможно, с рубленой логикой, но ведь не с равнодушием. Поверьте, мой друг с хвостом, у Раскольникова не было выбора – и потому он достоин большего.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.